

Смотреть и видеть. Путеводитель по искусству восприятия

Автор:

[Александра Горовиц](#)

Смотреть и видеть. Путеводитель по искусству восприятия

Александра Горовиц

Говорят, что некоторые люди способны, пройдясь по собственному кварталу, увидеть больше, чем иные, объехав целый свет. Американский ученый-когнитивист приглашает нас на прогулку по городу в компании с зоологом, звукооператором, специалистом по урбанистике, геологом, врачом, типографом и другими и рассказывает о механизмах восприятия и внимания, о том, как научиться находить необычное в давно привычных вещах и явлениях.

Александра Горовиц

Смотреть и видеть. Путеводитель по искусству восприятия

Alexandra Horowitz

On Looking

A Walker's Guide to the Art of Observation

© Alexandra Horowitz, text and line illustrations, 2013

© Scribner, a division of Simon & Shuster Inc., original publisher

© С. Долотовская, перевод на русский язык, 2017

© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2017

© ООО “Издательство АСТ”, 2017

Издательство CORPUS ®

* * *

Огдену:

– Смотри!

Введение

Неискушенный взгляд

Вы этого не заметили. Вы не замечаете львиной доли того, что происходит прямо сейчас вокруг и внутри вас.

Фокусируясь на словах на книжной странице, вы упускаете невероятно много. Информация непрерывно бомбардирует органы чувств. Вы слышите жужжание флуоресцентных ламп, ощущаете, что сидите в кресле, чувствуете прикосновение языка к небу, напряжение в плечах или челюсти, до вас доносится гул автомобилей или звук газонокосилки, боковым зрением вы видите собственные плечи или торс, вы слышите жужжание насекомого или шум бытовой техники в кухне, и так далее.

Неведение такого рода полезно. Мы называем его концентрацией. Она позволяет нам не только замечать символы на странице, но и видеть за ними слова, фразы и идеи. К сожалению, мы склонны подобным образом фокусироваться на любых действиях – не только самых сложных, но и обыденных. Удивительно много времени мы проводим, перемещаясь из одного места в другое – спеша на работу, направляясь в магазин или в школу за детьми (или в школу на уроки). И это время выпадает из нашей памяти. Оно забывается не потому, что не произошло ничего интересного. Забывается оно в первую очередь потому, что мы не обратили на него внимания. Разговаривая по телефону, думая, что приготовить на обед, слушая других или прокручивая в голове список запланированных дел, мы упускаем из виду целый мир. И упускаем возможность подивиться тому, что лежит на самом виду.

К той мысли, что ежедневные прогулки могут быть интереснее, меня подвела моя собака. Заведите мохнатую собаку с острым нюхом и широко открытыми глазами, и скоро вы увидите, что часто выходите на прогулку. Прогулку по своему кварталу, например. Последние тридцать лет я прожила бок о бок с двумя собаками в обычных городских кварталах. Но, думая, что отправляюсь на короткую прогулку, я часто, следуя за собакой, оказывалась в самых неожиданных местах. Прогулка по кварталу превращалась в экскурсию по паркам, в хаотичное блуждание по оврагам, в пробежки по обочине шоссе и, если повезет, по узким лесным тропинкам.

После некоторого числа таких прогулок, постоянно прерывающихся остановками, я попробовала выяснить, что же собака видит (и чувствует) такое, что заводит нас так столь от дома. Небольшие расхождения моих планов с представлениями собаки о том, где и как должна проходить прогулка, указывали на то, что квартал, по которому гуляю я, совершенно не похож на квартал, по которому гуляет собака. Я уделяла настолько мало внимания тому, что находилось прямо перед нами, что стала похожа на сомнамбулу: я видела лишь то, что ожидала увидеть. Моя собака показала, что у моего внимания был вечный спутник: невнимание ко всему остальному.

В этой книге я уделю внимание именно такому невниманию. Эта книга не о том, как сосредоточиться, читая Толстого, или научиться прислушиваться к своему мужу. И не о том, как не заснуть на лекции или во время дедушкиного рассказа о его детских злоключениях. Эта книга не научит вас планировать за рулем ужин, одновременно слушая аудиокнигу и сверяясь с GPS-навигатором.

Чтобы разбудить свою внимательность, я совершила дюжину прогулок по кварталу – обычных прогулок, на какие мы отправляемся почти ежедневно, – в компании людей, обладающих уникальным профессиональным умением видеть вещи, которые на первый взгляд кажутся обыденными и остаются незамеченными обычными людьми. Вместе мы учились воспринимать городской квартал – улицы и все, что на них, – как живое существо, за которым можно наблюдать.

Знакомое при этом становилось незнакомым, а привычное казалось новым. Мой метод основан на двух ключевых элементах. Во-первых, мы обладаем способностью видеть все. Переезжая в новый дом, мы поначалу смотрим вокруг широко открытыми глазами и всеми органами чувств фиксируем отличия нового района от старого: деревья здесь дают много тени, машин больше, тротуары уже, а здания дальше от дороги. Но позднее, обжившись, мы как бы слепнем. Даже время мы начинаем ощущать по-другому: когда нам нечего замечать, оно бежит быстрее. Способность к внимательности есть у всех, просто мы забываем ею пользоваться.

Второй элемент – личный опыт. Нашему восприятию всегда свойственна некоторая необъективность, профессиональная деформация. Психиатр замечает у всех, начиная с кассира в продуктовом магазине и заканчивая своей женой, симптомы диагностируемых состояний. Экономист рассматривает покупку чашки кофе как макроэкономическое явление. В обычной ситуации профессионалы – всего лишь люди, рядом с которыми вам не хочется сидеть за обеденным столом. Но в моем проекте они ясновидящие: эти люди способны обращать внимание на такие особенности поведения или социальных взаимодействий, которые обычный человек не замечает.

Я живу и работаю в Нью-Йорке, и меня завораживает шумный организм, который представляет собой улица. Чтобы изучить ее, я гуляла по обычным жилым кварталам Нью-Йорка и других крупных городов. На прогулку с собой я приглашала людей с особым взглядом на мир. Часто такой взгляд – результат профессиональной подготовки (скажем, у врачей). У других моих спутников особая восприимчивость сформирована увлечениями – например поиском следов жизнедеятельности насекомых или любовью к типографике. Наконец, у некоторых спутников особый взгляд на мир являлся неотъемлемой их чертой – например у ребенка, слепого человека, собаки. Ниже я расскажу об одиннадцати прогулках по городу, в которых меня сопровождали “ясновидящие”.

На самом деле прогулок было не одиннадцать, а двенадцать: сначала я отправилась прогуляться в одиночестве. Я хотела зафиксировать все, что увижу сама, прежде чем начать учиться наблюдательности у других.

В то утро, когда я вышла из дома, воздух был пропитан влагой. Я решила прогуляться по нескольким кварталам неподалеку от своего дома, потому что эти кварталы совершенно обычны. Я испытываю к своему району определенную нежность, которая проистекает из близкого с ним знакомства, хотя и отдаю себе отчет в том, что чем ближе я с ним знакомлюсь, тем меньше я на него смотрю. Тем не менее я была уверена, что сумею точно описать район. Мой взгляд на мир был не таким уж дилетантским. Я отправилась на прогулку с ясным намерением увидеть все, что можно увидеть. Более того, я профессионально изучаю поведение животных. Я вышла из дома, зажав в руке блокнот и планируя позднее реконструировать события. Широко открыв глаза, я повернула за угол.

Мой взгляд упал на мешки с мусором у края тротуара. В прозрачных пакетах виднелись изорванные в клочки документы. Мимо протрусил бигль на длинном поводке. Подняв ногу, он бесцеремонно пометил край мусорной кучи.

Я нацарапала в блокноте что-то про цветы, растущие в кадке с деревом. Подняв глаза, я обнаружила, что стою на углу, а с обеих сторон на меня смотрят два огромных мрачных многоквартирных дома. Я машинально отметила свободное место для парковки между двумя машинами возле тротуара. На фасаде ближайшего дома не было никаких украшений, кроме двух труб – скромной водопроводной трубы и загадочной трубы в виде двухголового гнома. Я не стала выяснять, что это такое. Мимо прошмыгнул ребенок. Меня обогнали несколько пар с собаками, которые направлялись в парк, оставшийся у меня за спиной.

Люди шли молча. Собаки безмолвствовали. Единственным звуком было жужжание кондиционеров. Между большим каменным зданием и стайкой красных и белых кирпичных домиков приютился прелестный особняк из красного песчаника с изящной выгнутой лесенкой перед входом. Но я почти не смотрела вверх. Под ногами было слишком много интересного. К каждому зданию прилагалась своя характерная куча мусора. Рядом с каждой кучей лежал какой-нибудь выпавший из нее предмет: ватная палочка (интересно, как ей удалось выбраться?), куриная кость, клочки бумаги. Я увидела еще одну ватную палочку и задумалась о здоровье своих соседей. Чем дальше я шла, тем беспорядочнее становились кучи мусора – или, может быть, тротуар становился

уже (или и то, и другое). Пропуская прохожего, я чуть не плюхнулась в нишу в стене здания – возможно, именно для этого ниша и предназначалась, хотя почему-то была усажена зубцами. Так что экспериментировать я не стала.

Я подошла к перекрестку с Бродвеем – широким проспектом, по которому в обоих направлениях неслись машины. На разделительной полосе стоял пожилой джентльмен, не успевший сразу пересечь улицу. Он, пошатываясь, двинулся дальше, и я обошла его по широкой дуге, чтобы не сбить его с курса.

На той стороне Бродвея, дальше на восток, в переулке спрятались несколько магазинчиков: продуктовая лавка с кучкой мятых окурков перед дверью, парикмахерская с длинным навесом у входа, который смотрелся здесь абсолютно неуместно... По переулку двигался поток машин. Некоторые из них въезжали на парковочные места, другие неосторожно сдавали задом на проспект. Я почувствовала запах мусора. Спереди донесся шум мусоровоза, который пытался примять свой груз. Под ногами я заметила кучку спагетти с соусом, которыми уже занялась стайка голубей.

Хотя сам мусоровоз я увидеть не успела, он оставил за собой тянущуюся от тротуара к проезжей части дорожку из упавших предметов, которые выдавали пищевые и гигиенические пристрастия местных жителей. Я обратила внимание на нетерпение водителей, которые вглядывались вперед, вытягивая шеи, будто препятствие могло исчезнуть, если его хорошенько рассмотреть. Наблюдая за ними, я дошла до здания на углу и повернула направо, на другой оживленный проспект. Дорожное движение набегало волнами: повинувшись сигналу светофора, все машины разом устремлялись по улице. На первых этажах имелись витрины, но в этот ранний час большая часть их была закрыта. Над витринами висели невзрачные вывески, предлагающие пиццу и пылесосы. Делая на ходу пометки в блокноте, я не заметила, было ли на углу что-нибудь интересное. Повернув, я оказалась на обсаженной деревьями улице. На одной стороне они давали густую тень. Я устремилась туда. Подошвы прилипали к свежему, гордо сверкающему под утренним солнцем асфальту. Впереди я увидела (а после и услышала) грузовик киносъёмочной группы. Квартал был заполнен людьми, создававшими его однодневную декорацию. Грузовик являл собой средоточие человеческой деятельности неустановленного свойства. На тележках позади грузовика висели груды металлических труб и сложенных штабелями платформ. Любопытные зрители главели на происходящее со своих крылец.

У каждого дома была парочка характерных черт. В одном случае это оказались свернутые в трубку и стянутые канцелярскими резинками газеты на верхней ступеньке. Я в сотый раз подивилась тому, что газеты, которые приносят почтальоны, каждое утро не исчезают бесследно. Другой дом был увит плющом, который нависал над крыльцом и обещал скоро превратиться в настоящую арку. У металлической ограды третьего выстроился аккуратный ряд мусорных баков.

По тротуару, рядом с грузовиками с электрогенераторами, громко генерирующими электричество, слонялись члены съемочной группы. У них были бейджи и наушники, и почти все держали в руках стаканчики с кофе – своего рода спасательные круги, позволяющие выжить ранним утром. Эти люди уставились на меня: делать им было нечего, кроме того, сейчас они находились не в своем районе, где зрительный контакт обычно учтив и непродолжителен. До меня донесся запах из ресторана неподалеку: там подавали завтрак. Фасад церкви, в которую я никогда не заглядывала, походил на зияющую дыру: многочисленные двери были распахнуты. Мужчины в шортах заносили внутрь коробки.

Посреди всей этой суеты замерла сломанная гледичия. Недавняя буря лишила дерево верхушки, и теперь та в виде кучи веток разместилась возле ствола. Прохожие переступали через бесполезную полицейскую ленту, окружавшую дерево.

Ветерок поманил меня дальше, и я, последовав за ним, снова перешла Бродвей. Улица, на которую я попала, взбиралась на невысокий холм и опять спускалась, что придавало ей особую прелесть: из-за разницы в высоте ряды одинаковых домов смотрелись не так скучно. Со второго этажа, просунув нос между прутьями балкона, смотрел старый пес. Свисающие уши были ему очень к лицу. Он завилял хвостом, когда я его поприветствовала.

Над улицей доминировал частный особняк: настоящая аномалия в этом городе. Из-за стены дома выскочила белка и направилась на другую сторону улицы. Задержавшись под машиной и помедлив в середине дороги, она шмыгнула в кусты.

Я в последний раз повернула за угол и пошла к входу в особняк, рассматривая пару каменных львов, терпеливо и безнадежно ожидающих прибытия королевских особ. Лохматая гусеница с головой, украшенной двумя парами грозных рожек, лениво заползла на первую ступеньку, явно направляясь туда,

где гусениц ничего хорошего не ждет. Я переложила ее на клумбу и отправилась домой. Свернутую в трубку газету, которая только что лежала возле двери, уже украли. Я повернула ключ в замке.

Выходя утром из дома, я прислушивалась к себе внимательнее, чем всегда, поскольку не забывала, что иду на обычную прогулку по кварталу, и надеялась удивить себя собственной наблюдательностью. В конце концов, по профессии я наблюдатель – точнее, наблюдатель за собаками. Это умение должно распространяться и на наблюдение за собственным поведением, и, несомненно, на наблюдения за кварталом. Ведь я не раз слышала о том, какая я наблюдательная – от многочисленных друзей, которым я навязывала свои непрошенные наблюдения.

Я осталась очень довольна и собой, и прогулкой. Я увидела все, что в моем квартале стоило внимания. Ни одна машина не проехала незамеченной, ни один дом не избежал осмотра. Я смотрела на деревья и даже припомнила, как называется одно из них. Я изучила прохожих, заметила отважную белку и разглядела лохматую гусеницу. Я смотрела. Разве я могла что-то пропустить?

Как выяснилось, я пропустила почти все. После описанных ниже прогулок я почувствовала себя одновременно встревоженной, восхищенной и пристыженной тем, насколько ограниченным был мой взгляд на мир. Меня утешает лишь, что такая “неполноценность” свойственна большинству людей. Мы смотрим, но толком не видим: наши глаза широко открыты, но взгляд легкомысленно скользит от предмета к предмету. Мы видим символы, но не понимаем их значения. Мы не слепы, но на глазах у нас – шторы.

Неполноценность эта касается внимания: я просто не сосредоточилась как следует. Хотя кажется, что нет ничего проще, чем сосредоточиться, на самом деле это не так. Наверное, каждый в детстве слышал замечание: “Сосредоточься!” Вот только никто не объяснял нам, как именно это нужно делать.

По общему мнению, занятие это довольно трудное. В XIX веке немецкий психофизик Густав Фехнер так описывал свои физические ощущения, когда он на чем-нибудь сосредотачивался: “направленное вперед напряжение в глазах”.

(А при слушании он чувствовал “направленное вбок напряжение в ушах”.) Американский ученый Уильям Джемс, отец современной психологии, заявлял, что, сосредоточившись на воспоминании, он чувствует, как глазные яблоки “перекачиваются туда-сюда”, будто фокусируясь на скоплениях нейронов внутри головы. Пытаясь выяснить, как люди воспринимают феномен внимания, физиологи обнаружили, что школьные учителя, объясняя ученикам, как сосредоточиться на изображении, советуют “неподвижно смотреть на него, как при съемках кинокамерой”. Концентрироваться, сосредотачиваться – все это воспринимается как занятие, требующее значительного напряжения сил. Сиди неподвижно, не моргай и сосредоточься!

Когда вам нужно прочитать сложносочиненное предложение или расслышать то, что вам по секрету шепчут на ухо под грохот проезжающего грузовика, вы быстро погружаетесь в то состояние мыслительного напряжения, которое описывали Джемс и Фехнер. Вы принимаете характерную позу внимания. Читая, вы хмуритесь и щуритесь, будто пытаетесь лучше разглядеть слова. Слушая, вы наклоняетесь к собеседнику, опустив глаза, чтобы не отвлекаться на зрительные раздражители, и приоткрываете рот. Вы напряжены: ноги поджаты, руки слегка сжаты в кулаки, плечи приподняты. Вы удивительно неподвижны, будто шум, издаваемый вашими мышцами, может заглушить шепот собеседника.

Все это способствует концентрации в момент разговора, однако никак не помогает во все остальное время. Нужно разобраться в том, что такое внимание. Что это – умение, склонность, навык? Что отвечает за внимание: специальный отдел мозга – или глаза и уши? У психологов нет четкого ответа на этот вопрос. Мы с легкостью пользуемся словом “внимание” и понимающе киваем, когда кто-нибудь заводит о нем речь. Но не странно ли обсуждать то, что неизвестно чем является и непонятно где локализовано?

Конечно, все и так знают, что такое внимание, утверждал сто лет назад Джемс. Может, и так. Впрочем, замечу, что сам Джемс посвятил шестьдесят страниц своего психологическогоopusа рассуждениям о том, что же это такое.

Модель, давно используемая психологами, основана на идее “прожектора”, который выхватывает из тьмы интересующие нас вещи, наводя на них фокус, а все ненужное оставляет в темноте. Эта аналогия заставляет меня чувствовать себя спелеологом с фонариком на лбу, который видит лишь то, что прямо перед его носом. Это сравнение не совсем верно, поскольку в реальности человек почти всегда может сказать, что именно он видит боковым зрением. К тому же

“прожектор” не избавляет нас от игнорирования множества деталей того, на что мы якобы внимательно смотрим.

Поэтому лучше подумать о проблемах, для решения которых эволюция породила это самое внимание. Первая проблема обусловлена самой природой. Мир переполнен отвлекающими факторами. Здесь невероятное количество объектов: и ярко окрашенных, и крупных, отбрасывающих тень, и быстро движущихся, и приближающихся к нам, и издающих громкие звуки, и необычных, и пахучих. Эта какофония ждет сразу за дверью дома. Если кто-нибудь встретит нас на улице и спросит: “Как жизнь?”, точный ответ дать будет непросто. Можно начать так: “Мои глаза радуются великолепию красок. Нас окружают невероятно огромные каменные башни. Время от времени мимо проносится гора металла и пластмассы. Меня обгоняют хаотично движущиеся фигуры с размытыми лицами. Над моей головой носятся небольшие компактные объекты. Откуда-то слышится гул; фигуры с размытыми лицами издают прерывистое бормотание; шумят каменные башни. Мое обоняние привлекает запах чего-то спелого и запах чего-то гниющего...”

Вместо этого мы говорим: “Да так... Ничего особенного”.

Честно говоря, ничего довольно точно описывает количество вещей, которые мы замечаем. Один из способов разрешить проблему “пестрой, шумной хаотической смеси”, с которой сталкивается младенец, приходя в мир – это игнорировать большую ее часть. Проходят дни и недели, мы взрослеем и научаемся справляться с этим беспорядком, просто не обращая на него внимания. К тому времени, когда мы начинаем самостоятельно выходить из дома, мир систематизирован, а наполняющие его объекты классифицированы и “приручены”. Еще несколько лет – и мы уже умеем воспринимать улицу, на самом деле почти не видя ее.

Вторая проблема заключается в том, что даже игнорируя большую часть окружающего мира, мы все равно способны воспринимать лишь небольшую его часть. Мощность наших сенсорных систем ограничена и в объеме информации, и в скорости ее обработки. Свет, который мы видим – видимый свет, – это невообразимо малая часть спектра, а то, что мы слышим – малая доля того, что можно услышать. Наши глаза, как и другие сенсорные органы, в конкретный момент могут обрабатывать лишь небольшое количество информации: чтобы преобразовать световой сигнал в электрический, нейронам требуется изменить структуру своих пигментов. В момент, когда это происходит, клетка больше не

реагирует на свет. А то, что не попадает внутрь глаза, мы не видим. И хотя мы со своими невероятно крутыми мозгами представляем собой огромные процессоры для параллельной распределенной обработки данных, у наших вычислительных мощностей тоже есть рамки. Самые лучшие компьютеры не умеют думать как человек (во всяком случае пока), но информацию они все же обрабатывают гораздо быстрее нас. К счастью, не все в мире одинаково информативно или важно, так что нам и не нужно видеть все.

Вот если бы у нас была система, позволяющая видеть лишь то, что действительно стоит видеть...

...и она у нас уже есть: это внимание. Система, позволяющая игнорировать ненужную информацию, разбираться в потоке визуального и звукового шума, разрешает все эти проблемы. Хотя кажется, что объекты окружающего мира кротко ждут, пока их озарит свет нашего взгляда, на самом деле они соперничают за наше внимание. Внимание – это целенаправленный и бескомпромиссный фильтр. Он определяет, что важно для нас в данный момент, и заставляет замечать лишь это, и ничего, кроме этого. Зачем утруждать себя сортировкой элементов визуального ряда? Эволюция предлагает простое объяснение. Некоторые объекты можно съесть, а другие объекты могут съесть тебя. В самом простом случае организм должен уметь распознавать объекты этих двух категорий. Примитивному организму, возможно, ничего иного и не нужно. Бактерии все равно, сочетается ли ваша оранжевая рубашка с розовыми брюками. Едва уловимая, но важная разница между запахом потных ног и запахом лимбургского сыра (которая едва ли заметна кому-то, кроме сыроделов) недоступна отважным бактериям, которые с удовольствием селятся и там, и там. Для древнего человека, жившего в саванне, умение распознавать запах (например льва) имело первостепенное значение. В результате у современного человека сохраняется особый тип внимания – бдительность, – которая помогает организму быть настороже и в случае появления льва пуститься в бегство. Для современного человека актуальнее способность вовремя кивать, слушая на вечеринке собеседника, увлеченно рассказывающего что-то, и одновременно игнорировать все остальные разговоры в комнате (разумеется, кроме тех, в которых прозвучало ваше имя). Для этого есть другой вид внимания – избирательное.

По возможности мы пытаемся свалить эту работу на окружающий мир: акцентируем свое внимание на предмете, видоизменяя его: обводим в кружок важные слова на странице; выделяем фломастером то, на что нужно обратить

внимание; храним свой любимый нож не среди других ножей, а среди маленьких беззащитных ложек. Этим объясняется коммерческий успех цветных маркеров, ярко-оранжевых строительных конусов (или, еще лучше, конусов “кислотного” зеленого цвета – для контраста с привычным оранжевым) и рекламных объявлений, которые подмигивают с дорожных щитов. Примечательность всего одного неожиданного элемента визуального пейзажа настолько велика, что этот предмет может служить обозначением какого-нибудь другого элемента: постирать вещи, позвонить маме. Это феномен завязывания узелков на память: увидев узелок, мы не погружаемся в размышления об узелках, а припоминаем, что нам нужно о чем-то вспомнить.

Однако если злоупотреблять этим приемом, можно привыкнуть к узелкам, и тогда от них не будет пользы – не считая вашей готовности в любой момент заняться завязыванием узелков.

Успешно сосредоточиться на чем-либо невозможно без указаний сверху – от головного мозга. Наш мозг непрерывно “завязывает узелки”. Монолог о том, что вы делаете в данный момент, влияет на то, что вы в этот момент увидите. Если вы знаете, что ищите нож, найти его будет проще.

Таким образом, в самом простом случае обращать внимание на предмет – значит выделять его среди всех остальных стимулов в данный момент. Это усилие не обязательно должно быть сознательным или сложным. Но оно требует некоторого руководства со стороны мозга. Чтобы просто прочитать мои слова, вам нужно сузить фокус до этой страницы. Другие картинки, мысли, звуки и запахи останутся на периферии мысленного видеоискателя (до тех пор, пока одна из этих картинок или один из звуков не переместится в поле ментального зрения). Все эти вещи мы с легкостью и почти наверняка забываем – но они готовы в любой момент предстать перед нашим вниманием. Чуть позднее, вспоминая, как вы сидели и читали эту книгу, вы вряд ли сможете сказать, какие предметы находились справа и слева, что было в вашем зрительном поле выше страниц; вы не сможете вспомнить мелодию, которая звучала в голове, и забудете приглушенный шум машин, который сопровождал чтение.

Психологи называют это избирательным усилением одних областей перцептивного поля и подавлением других. Именно на этом основан мой подход к вниманию во время прогулок по кварталу: каждый из моих спутников играет роль избирательного усилителя. Он указывает области, которые остальные привычно игнорируют (либо вообще не знают, что их можно увидеть).

Это не значит, что каждый из моих спутников видел все. Когда я гуляла с одной из самых известных в мире исследовательниц в области внимания, она прошла мимо шестидесяти долларов, лежавших под ногами. Она их не заметила.

Я шла в шаге за ней и очень удивилась. Это была одна из первых прогулок моего проекта; я поехала на поезде за город, чтобы встретиться с психологом, работа которой посвящена вниманию. Мы как раз говорили о наблюдательности: способности замечать новое среди обыденного. То, чем мы в этот момент занимались, было типичным примером обыденного: мы гуляли с собаками.

Однако наблюдательный психолог прошла мимо денег.

Деньги заметили я и ее собака (ну, она-то, наверное, их учуяла). Двадцатка, утратившая владельца. Через пару шагов еще одна. Я изумленно перевела взгляд на лежавшую в стороне третью купюру. Все бумажки были сложены вчетверо и сейчас разворачивались, обретая свободу. Судя по всему, они выпали из кармана и с разной скоростью спланировали на землю. Я остановилась, схватила трофеи и пробормотала: “Смотрите!”

Она широко улыбнулась, увидев деньги в моей протянутой руке. Собака гордо стояла рядом, опустив нос к земле. Я подумала: “Стоп. Неужели я пропустила еще одну?”

В этой книге я ищу то, чего не замечаю во время прогулок по кварталу. Понятие квартал включает физические элементы улицы – тротуар, дома – и их историю. Первые четыре мои вылазки посвящены неживому городу. Помимо этого, квартал включает существ (или предметы), которые находятся в нем сейчас, и существ (или предметы), которые находились здесь прежде. Следующие три главы посвящены живому городу. Квартал полон вещей, которые мы не видим, не слышим и не чуем, и хранит нерассказанные истории вещей, которые мы видим, слышим и обоняем. Последние три главы посвящены сенсорному городу.

Результатом прогулок не станет ученая степень в изучении какого-либо города или квартала. Это просто рассказ о том, что можно увидеть в любой обстановке – городской или деревенской. Эти прогулки пробудили во мне давно уснувшее

чувство удивления миру. Обычно такое восприятие свойственно профессионалам или очень юным людям (еще не ставшими профессионалами в искусстве быть человеком). Возможно, они смогут пробудить удивление и у вас.

Уильям Джемс считал, что мы видим то, “что готовы увидеть”. С этой мыслью я и отправилась на прогулку.

Часть первая

Неодушевленный город

Глава 1

Об избыточности

Наблюдая, можно многое увидеть.

Йоги Берра

Сжав в руке рукав потрепанной шерстяной курточки и крошечные мягкие пальчики, принадлежащие моему девятнадцатимесячному сыну, я вышла из дома – и узнала о равнобедренных остроугольных треугольниках в своем квартале.

Основы моего бытия пошатнулись еще до того, как мы встретились с треугольниками. Собираясь на прогулку с сыном, я была очень самонадеянна. Для меня прогулка – это очень простое занятие, слишком простое, чтобы о нем вообще рассказывать. Но поскольку все мои представления о прогулке были перевернуты недавно научившимся ходить малышом, я попробую это сделать. Я думала, что прогулка – это перемещение по условной дороге – тротуару, улице,

грязи – из точки А в точку Б. Наверное, я могла бы даже расширить понятие дороги: это необязательно должна быть настоящая дорога, достаточно просто траектории, которой я следую, переставляя ноги, чтобы попасть из одного места в другое.

Как же я заблуждалась! Как-то вечером, в конце весны, мы собрались прогуляться по кварталу. К тому моменту мой сын уже семь месяцев ходил самостоятельно, без поддержки, однако прогулка по улице – где он мог идти сам – пока оставалась для него приключением. Все-таки он был еще очень маленьким и поэтому вылазки на улицу совершал в детском рюкзаке, висящем у меня на животе, или в переноске у папы на спине. Но сегодня он должен был вести меня на прогулку. Более того, я собиралась спросить у него, что он видит.

Его ответы, разумеется, пока нужно было переводить. Сын уже имел впечатляющий словарный запас – кроме ма-ма, ку-ку, па-па и яблоко, он очень любил слова пупок, вертолет и катастрофа (результат его присутствия при впечатляющем обрушении нашего домашнего бара). Однако его все-таки пока нельзя было назвать интересным собеседником: на радио его бы вряд ли пригласили. При этом он был очень общителен: много и сложно жестикулировал, кривлялся, использовал рудиментарный язык глухонемых и демонстрировал разнообразные эмоции. Во время нашей прогулки я пыталась понять, что он видит, отмечая его предпочтения и стараясь представить себя в его – очень небольшой – шкуре.

Все пуговицы и молнии были застегнуты, шнурки завязаны и перевязаны еще раз. Предвкушая прогулку, мы спустились в лифте: “гулять”, объявил мой сын. Он пронесся по вестибюлю нашего многоквартирного дома к входной двери и всем своим весом навалился на нее – маленькое тельце на фоне массива стекла и металла. Навалившись на дверь вместе, мы медленно открыли ее, будто отдавая должное ее солидности. Взявшись за руки, мы повернули налево. Прогулка началась.

И тут же закончилась. Мы даже не успели толком повернуть налево. Остановившись на тротуаре у нижней ступеньки, сын присел на корточки в позе тяжелоатлета или готовящейся к запуску маленькой ракеты. И замер.

– Гулять, – напомнила я.

Никакого ответа.

– Пойдем! – сказала я своим самым бодрым тоном.

Он и ухом не повел.

В конце концов он сам протянул мне руку, и я взяла ее в свою.

Тут я начала понимать: с его точки зрения, мы уже “гуляли”. Мы двинулись дальше, и определение этого слова стало для меня проясняться. “Прогулка”, согласно представлениям моего малыша, почти не имеет отношения к процессу ходьбы. Она не имеет ничего общего с точками А и Б и перемещениями из одного пункта в другой. И с переставлением ног по некоей прямой. Прогулка для него – это просто исследовательский опыт, который начинается избытком энергии и заканчивается (непременно) изнеможением. Его прогулка началась в лифте и продолжилась в вестибюле, у входной двери. Вернее, она началась еще с завязывания шнурков, а до этого – с пробежки по коридору в предвкушении завязывания шнурков. С точки зрения сына, мы уже давным-давно “гуляли”.

Гулять – это исследовать поверхности и текстуры с помощью пальцев рук, пальцев ног и – фу! – языка; это стоять неподвижно и смотреть, кто или что пройдет и проедет мимо; это испытывать различные способы передвижения (среди которых – бег, шаг, вскидывание ног, прыжки, стремительное бегство, жесткое падение, вращение вокруг собственной оси и шумное шарканье ногами). Это археология: исследовать кусок выброшенного фантика от конфеты; собирать в ладонь камешки, веточки и оторванный уголок книжной обложки; размазывать грязь по земле. Это – остановиться, чтобы послушать шепот ветра в листве деревьев; определить источник птичьих трелей; и показать на все это пальцем. Смотри! – рука вытягивается, чтобы твой спутник мог увидеть то, что видишь ты. Это – время делиться увиденным.

Во время прогулки сын поделился со мной открытием: орнаментом из лампочек на лесах строящегося дома (а я делюсь с вами: они были флуоресцентными – желтыми, красными и белыми). Он поделился со мной многочисленными буквами О – это была первая буква, которую он научился произносить, выговаривая ее тщательно и медленно, вытянув губы и сияя от удовольствия, – случайно или намеренно обнаруженными на вывесках и стенах (в первую очередь, конечно, на дорожном знаке “Стоп”, но также на номерах машин и в ошибочно принятых за

букву О нулях на экранах рядом с парковкой, обозначающих, что мест больше нет); в круглом узоре решетки кондиционера, висящего над окном; в круглом пупке; в трещине на тротуаре, имеющей форму яйца; на железных воротах с филигранью в форме О. Он поделился со мной знанием об отличительной особенности нашего дома: львиной голове с открытой пастью над входной дверью. Я не замечала ее, хотя тысячи раз входила и выходила в эту дверь.

Была ли это фиксация? Помешательство на лампочках, буквах О и львах? Нет. Мой сын просто ребенок. А детское восприятие удивительно. Мы часто забываем об этом – потому что дети неизбежно превращаются во взрослых, которые, несмотря на всю свою мудрость или доброту, бывают очень невнимательны. Мир ребенка – это хрестоматийный пример спутанного внимания. Новорожденный невольно попадает на интенсивный учебный курс чувственного восприятия. Организм бережет младенца, стараясь особенно ему не докучать. Несмотря на то, что все его сенсорные органы – включая огромные чистые глаза, маленькие ушки и бархатную безупречную кожу – работают как надо, далеко не вся информация, которую ребенок получает из внешнего мира, достигает мозга. А если и достигает, то не в организованном порядке. Например, младенец все видит более размытым и ярким, чем взрослый: младенцы очень близоруки и не имеют затемняющих фильтров, приглушающих свет. Для новорожденного не существует “кроватки”, “мамы”, “папы”, стен, пола, окна, неба. Ребенок видит все это, но пока не понимает, что это такое.

Информация, поступающая через глаза, может обрабатываться в любой части мозга – это может быть и зрительная кора, обеспечивающая зачаточное зрение, и двигательная кора, заставляющая младенца пинаться, и слуховая кора, благодаря которой лежащий рядом плюшевый мишка может восприниматься как звук удара, звон или шепот. Есть все основания полагать, что такой вид синестезии для младенцев обычен. Синестезия – буквально “одновременные чувства” – это довольно редкая, с очень малой вероятностью встречающаяся у взрослых форма восприятия. У синестетиков ощущения от одного органа чувств – например, глаз – перекрываются с ощущениями от другого органа чувств, например вкусовых рецепторов. Конечно, все мы часто испытываем два (и более) ощущения одновременно – например, довольно трудно есть рядом с прорвавшейся канализационной трубой; мы можем понять, что нам говорят, посмотрев на губы собеседника.

Однако у некоторых людей “совмещение” чувств может быть менее функциональным и более сильным. Советский психолог Александр Лурия описал

свое знакомство с синестетиком Ш. в книге “Маленькая книжка о большой памяти (ум мнемониста)” (у Ш. также, и это не случайно, была феноменальная память). Давая Ш. задания по запоминанию словесных рядов, Лурия обнаружил, что тот визуализирует слова в голове, причем его “внутреннее зрение” было совсем не простым. Если во время зачитывания списка слов кто-нибудь чихал или кашлял, Ш. видел “клубы пара” или “брызги”, которые накладывались на возникавшие в голове зрительные образы. Для Ш. звуки имели цвет и вкус: розовый, шершавый, соленый. Для многих синестетиков числа и буквы имеют чувственные ассоциации: цифра 3 для них “угрюмая”, буква h похожа на “коричнево-желтый шнурок от ботинка”, буква a “отдает лаковым черным деревом”.

Однако если у взрослых способность чувствовать слова на вкус или ощущать запах букв считается отклонением (пусть даже способствующим творчеству), младенцы – создания в высшей степени творческие – живут в таком мире постоянно. Хайнц Вернер, немецкий психолог начала XX века, называл это *sensorium commune*: зародышевым способом познания мира, пред-знанием и пред-категоризацией. Ученые обнаружили остатки такой перцептивной организации и у взрослых: когда им показывали на рисунке волнистые линии, они обычно описывали их как “радостные”, нисходящие – как “грустные”, а резкие линии – как “злые”. Ощущение звука – когда кажется, будто находишься внутри вибрирующего колокола – также проявление нашей рудиментарной *sensorium commune*.

Впрочем, чаще всего мы игнорируем подобные ощущения: мы не делим линии на радостные, тревожные или мрачные. Согласно одной из теорий синестезии, синапсы, которые соединяют нейроны, отвечающие за идентификацию форм, и нейроны, отвечающие за восприятие вкуса, в первые годы жизни разрушаются. Возможно, так происходит просто потому, что эти синапсы никак не используются. Люди редко говорят о том, что треугольник похож на кислое зеленое яблоко, поэтому ребенок, который испытывает это ощущение, в конце концов просто перестает обращать на него внимание. И тогда ощущение отмирает.

Такое восприятие мира станет понятнее, если мы вспомним, что мозг сродни густому супу из нейронов, которые взаимодействуют друг с другом посредством электрических импульсов. Это взаимодействие обеспечивается межклеточными связями – синапсами. Не будет преувеличением сказать, что на определенном уровне любое наше ощущение – от боли в ушибленном пальце до попыток

вспомнить чье-нибудь имя – является результатом активности конкретных нейронов, взаимодействующих с помощью конкретных синапсов.

Внимание – от “попыток” вспомнить имя до “размышлений” о том, как закончить предложение, – является, как и чувственное восприятие, одним из видов синаптической активности. Поэтому в мозге с небольшим количеством синапсов, например в мозге новорожденного, количество внимания также ограничено. По мере формирования синапсов – дзынь! звучит телефонный звонок, бац! просыпается ряд нейронов в зрительной коре, оп! просыпается двигательный нейрон, заставляя ноги пинаться, – мы видим, как пробуждается внимание. Оно пока беспорядочное, случайное и произвольное – но все же самое настоящее внимание. Навестите младенца через пару месяцев и понаблюдайте, как он смотрит в глаза (или в пространство возле глаз) и следит взглядом за вашей головой по мере того, как она смещается в сторону от него или пропадает из виду. В 19 месяцев внимание моего сына было уже вполне – хотя и не полностью – упорядочено. И слава богу.

Я лишь начала привыкать к мысли о том, что наш квартал поражен нашествием букв О. Однако я еще ничего не знала о треугольниках. Мы находились в тот момент в 50 м (и нескольких десятках минут) от входной двери. Поскольку ушли мы недалеко, я начала поторапливать сына и мягко тянуть его за руку – мне надоело переступать с ноги на ногу в ожидании того, когда его крошечные ножки догонят огромные мамы. Но он тянул меня назад, и я позволила ему идти, куда хочет. Я стояла на тротуаре, а он тянулся куда-то в противоположную сторону. Я посмотрела. И не увидела ровным счетом ничего.

Если в лингвистическом отношении моего сына сильнее всего влекли буквы О, то в физическом мире предметом его вожеления стали углы, пересечения дорожек и низкие перила. На углу сиял на солнце солидный многоэтажный дом типичных для Манхэттена довоенных размеров. Улица в этом месте слегка поднимается вверх по холму, и складывается ощущение, что восточная часть здания выше западной. Мне хватило одного взгляда, чтобы понять, какого рода это здание: мне довелось побывать и пожить в десятках таких домов. Я осмотрела фасад в поисках каких-нибудь черт, которые рассказали бы мне об этом доме что-нибудь новое, но ничего не нашла. В этот момент сын стал виснуть у меня на руке, и мне пришлось остановиться. Он нашел нечто вроде ограды. Здание было обнесено “рвом”: углублением довоенных времен, окружавшим дом на уровне подвала, которое подходило скорее для хранения

мешков с мусором, чем для защиты от врага. По краю “рва” возвышалась зловещая на вид решетка с тяжелыми стойками перил. Неудивительно, что мне не хотелось замечать эту ограду. Это отнюдь не самая красивая часть здания.

Но сын ее заметил. Он обладал счастливой способностью восхищаться некрасивыми вещами. Или, скорее, счастливой неспособностью видеть разницу между красивыми и некрасивыми вещами. Стойки перил упирались в парапет, по ширине как раз подходящий для маленького ребенка. Он прошел на цыпочках вдоль низкой стены, прыгнул вниз и вскарабкался на парапет. Именно так я узнала о треугольниках. Поскольку путь моего сына пересекался с тротуаром, эти две траектории образовали остроугольный треугольник. Маленький шаг вверх и большой вниз. “Треугольники хорошие? – спросила я. – Желтые?” “Зеленые. С пузырьками”, – важно ответил сын, а я стояла и смотрела на очень незеленые, без всяких пузырьков треугольники. Я кивнула. Кто я такая, чтобы разрушать этот синапс?

Одна из составляющих нормального развития – это учиться замечать меньше, чем возможно. Наш мир полон цветов, форм и звуков, но чтобы выжить, мы должны частично их игнорировать. Мир все равно хранит эти элементы. Дети воспринимают мир с другой детализацией и обращают внимание на элементы визуального мира, которые мы не замечаем, и на звуки, которые мы игнорируем как ненужные. Они четко видят то, что остается невидимым для нас.

Все мы, люди, имеем сходные представления о том, как устроен мир, однако мы не сразу рождаемся в таком мире. Наша жизнь начинается со своего рода сенсорного хаоса – того, что Уильям Джемс назвал “первобытной избыточностью чувств”: относительно недифференцированной массы звуков и света, цветов, текстур и запахов. Взрослея, мы учимся обращать внимание на одни элементы и игнорировать другие. Достигнув зрелости, мы уже точно знаем, как устроен мир. Но давайте задумаемся о том, что мы пропускаем; а таких вещей немало! Узор, образованный вплавленными в асфальт камешками, шипение батареи в комнате, удары нашего сердца, отдающиеся в кончиках пальцев и висках. Сознание младенца свободно от ограничений опыта: у него нет никаких ожиданий, поэтому он открыт всем ощущениям.

Однако сравнить его сознание с “чистой доской”, конечно, нельзя. У человека есть врожденные механизмы, которые увеличивают шанс того, что даже в первые, самые опасные секунды жизни вне материнской утробы он найдет мать

(по запаху, к которому он привык, находясь в матке; по ее лицу, на которое направлен его взгляд; по темным точкам – соскам). Но младенец пока не умеет игнорировать шуршание бумаги в руке человека на другом конце комнаты или шум, который издает отряхивающаяся собака. Не зная, что из всего этого интересно и на что стоит обращать внимание, ребенок также не знает, что из всего этого считают неинтересным взрослые: нижняя сторона сиденья стула, длинная пустая стена, угол картинной рамы. Мы обычно не рассматриваем чужие колени – не такое уж это захватывающее зрелище, – но ребенок этого еще не знает (и, кроме того, ростом он как раз по колено взрослому). Поэтому он пожирает колени взглядом. Мозг младенца еще не умеет определять, что есть целый объект, а что – его часть: он не понимает, что такое границы объекта. Точно так же у него пока нет представлений о том, на что стоит смотреть, а на что нет. Он не знает, что треугольники, образованные столбиками перил и тротуаром, совершенно неинтересны.

Или все-таки интересны? Сезанн считал, что все природные формы образованы комбинациями кубов, цилиндров, конусов и сфер. Буквы О, столь полюбившиеся моему сыну, – это просто поперечные сечения цилиндров и сфер; треугольники – срезанные по углам кубы. Кубисты проводили различные манипуляции с этими простыми фигурами, разбирая на составные части и вновь собирая формы, на которые мы не обращаем внимания, потому что слишком к ним привыкли. Игрушки, которые Фридрих Фребель, изобретатель детского сада, придумал для своих подопечных, представляют собой вариации этих простых форм. Младенца восхищает даже простой мягкий шар: он катится, но его можно поймать. Для ребенка постарше твердый шар олицетворяет движение, а куб, напротив, иллюстрирует неподвижность: катиться он не желает, зато его можно толкать и ставить один на другой. А теперь представьте, сколько всего можно сделать, если прибавить к этому набору цилиндр. Для моего сына синий цилиндр легко становится игрушечной чашкой, шапкой или убегающей мышью, “раздавленным” мячом или “слишком большим” стеклянным шариком.

Повзрослев, мы, будто сговорившись, сами моделируем – определяем – то, что видим. Мой сын же пока умел видеть формы, которые я перестала замечать. Я пропустила треугольники на парапете, потому что смотрела на здание за ними, а цилиндры и кубы, которые составляют тело мыши, потому, что смотрела на саму мышь.

Это не значит, что мир можно воспринимать бесчисленным количеством способов. В образах, которые мы видим, есть логика – однако логика, которую

видит ребенок, пока не заражена логикой взрослого. Несмотря на слова Уильяма Джемса о “пестрой, шумной хаотической смеси”, с которой новорожденный сталкивается в визуальном мире, эта пестрота все же образует узор, а шум складывается в ритм. Исследователи в области обработки сигналов, которые пытаются воспроизводить работу естественных зрительных систем в искусственных (компьютерных) системах, сталкиваются с проблемой моделирования внешнего мира. Как выясняется, изображения в естественном мире вовсе не случайны. Иными словами, мы не можем смоделировать пейзаж, просто разбрызгивая краску на стене. Эта неслучайность означает, что естественные изображения крайне предсказуемы: вы можете предугадать, каким будет следующий “пиксел” визуального пространства, посмотрев на предыдущий. Наш мир очень структурированный и логически связанный: между тем, что находится в одном месте, и тем, что находится в соседнем, всегда есть корреляция. Поэтому, впервые обращая наш взгляд на мир, мы видим не совсем “белый шум”. Скорее мы видим простую геометрию кубов и сфер – или пирамид, – и она-то служит фундаментом, над которым надстраиваются все остальные вещи, что мы увидим.

Оставить треугольники мы смогли очень нескоро. Я прохаживалась взад-вперед, а сын тем временем залезал и вновь слезал с них. Я взяла на себя инициативу менять руки, поддерживая сына то за правую, то за левую руку, и виновато улыбаться прохожим, которые были вынуждены нас обходить. Каждый переход от одной стойки перил к другой сын сопровождал криком “вверх, вверх, вверх!”: он карабкался по воображаемым горам, на невероятно огромные грузовики или поезда или взбирался по маме. Многие улыбались, видя игру. Эти люди, решила я, тоже были родителями.

Наконец, без всякой видимой для меня причины, сын устал от этих повторяющихся действий, и мы пошли дальше.

Мы сделали четыре шага. После этого сын остановился, всем своим видом выражая крайнее любопытство. Я уже знала, что он страстно увлекается поиском “новых” предметов в пространстве. Если во время его дневного сна принести в дом почту, он тут же, просыпаясь на ходу, рванет к ней. Если я застегиваю ремешок часов, а он в этот момент смотрит в другую сторону, то, стоит ему повернуться, его глаза зажигаются любопытством. Очень часто он находил – и приносил мне с видом сыщика, работающего на месте преступления, – комочек пуха, оставшийся на ковре после пылесоса, и почти

невидимую пылинку, прилипшую к его рукаву, и другие микроскопические предметы. Я знаю, что сегодня популярны собаки, вынюхивающие злокачественные опухоли, однако я уверена, что сын найдет любое необычное образование на моей коже (“Точка!” – объявляет он гордо) быстрее, чем наша собака.

Вот и сейчас он отпустил мою руку и указал на землю. Я поняла, что там что-то новое.

“Камешки!”

С вяза на тротуар осыпались сотни, а может, и тысячи зеленых семян. Они были похожи на плоские круглые лепестки самого яркого зеленого весеннего цвета. “Много, много!” – закричал сын, размахивая руками. Семена окрашивали трещины тротуара в зеленый цвет, обрамляли его края и подчеркивали десятисантиметровый перепад высоты между бордюром и проезжей частью. Судя по воодушевлению моего сына, эти лепестки-камешки упали на землю со своих вязовых небес лишь сегодня ночью. Неофилия – любовь ко всему новому – была у моего сына такой сильной, что он непременно заметил бы семена, появившись они раньше. Смотря на мир его глазами, я заметила, насколько по-разному выглядит тротуар и улица всякий раз, когда мы идем из дома или домой. На земле и в воздухе постоянно что-нибудь изменяется, но перемены заметны лишь тем, кто еще не знает, что смотреть на припаркованные машины – это скучно.

В детстве все новое. Взрослея, мы постепенно привыкаем к вещам. Все это мы уже видели: мы знаем все, с чем столкнемся в повседневной жизни, и житель большого города и не подумает замедлить шаг при виде толпы, собравшейся из-за происшествия на улице. Исключение для взрослых – это отпуск. Тогда, во-первых, мы видим новое, а во-вторых, мы смотрим на новое[1 - И это несмотря на проникновение “Макдоналдс” и “Старбакс” в самые отдаленные районы. Сетевые заведения мешают отпускному взгляду на мир. – Здесь и далее, если не указано иное, – примечания автора.]. Подозреваю, что наша любовь к недалеким загородным поездкам (часто они сводятся к поездкам в гости – причем ваш дом может стать местом отдыха для кого-нибудь другого) отчасти объясняется просто возможностью посмотреть.

Однако скоро мы привыкаем. Нас начинают преследовать знакомые вещи. Еще не успев осознать это, мы привыкаем к тому, как выглядит место нашего

отдыха. У нас есть распорядок дня, мы знаем, где что находится – и перестаем видеть. Но отпуск все же изменяет нас, пусть на время. Мы возвращаемся домой, привозя с собой маленькое окошко, в которое можно посмотреть новообретенным взглядом и увидеть обновленный мир. Гуляя по Нью-Йорку вдалеке от своего дома, я смотрю на улицы по-другому. И только вернувшись, я понимаю, почему. Приезжая из загородной поездки, я вдруг замечаю, насколько узки здесь улицы и тротуары. Когда же я возвращаюсь из-за границы, тротуары в моем городе внезапно становятся очень удобными и широкими по сравнению с теми, с которых вечно приходится сходить на проезжую часть, чтобы пропустить других пешеходов. Обычный уличный пейзаж вдруг наполняется бесчисленным количеством предметов, на которых останавливается взгляд. Тротуар временно становится труднопроходимым, потому что я врезаюсь в прохожих и спотыкаюсь. Меня удивляет даже уклон дороги. На Среднем Западе США уровень дороги слегка снижается к краю: это направляет потоки дождевой воды в канавы и позволяет избежать образования луж. О, как не хватает этого уклона нью-йоркским улицам!

Такого обновленного восприятия моего родного города хватает ровно на один взгляд. Стоит мне окинуть взором свой квартал, как моя зрительная система перезагружается и возвращается в свое обычное состояние. Все тот же квартал. Все это я уже видела.

Так что в детстве внимание всегда гипертрофировано – благодаря неофилии и тому факту, что дети, недавно появившись на свет, просто не видели ничего этого раньше.

“Самосвал!”

Мы свернули с нашей боковой улицы на проспект. Бродвей. Для меня проспект означал потоки пешеходов, шум и продуктовые магазины. Но для сына он означал грузовики. Когда он указал мне на грузовик, мне пришлось признать, что он действительно заслуживал внимания. Я восхищенно осмотрела самосвал, несоразмерно огромный для города, с гигантскими колесами – выше моего сына! – и с большим ярко-синим кузовом. Припомнив модели самосвалов на нашем обеденном столе, я с полным правом могла сказать, что этот выглядел весьма солидно.

Мой сын уставился на грузовик, возбужденно тыча в него пальцем и раскрыв рот. Интерес к транспортным средствам у него проявился давно. Первой “новой

вещью” для сына стали самолеты: они вызывали у него необъяснимое волнение. Очень скоро я выяснила, что самолеты пролетают над нами раз в 3-5 минут, направляясь вдоль Гудзона на север, в аэропорт Ла-Гуардия. Это мне чрезвычайно нравилось, потому что позволяло сыну регулярно, но при этом с неослабевающим интересом, видеть самолеты.

После открытия самолетов транспортные интересы моего сына стали еще шире. Круче всего были вертолеты, но и машины тоже ничего. А мотоциклы! Трепет, который сын испытывал, обнаружив припаркованный в нашем квартале мотоцикл, мог сравниться лишь с восторгом, с которым он провожал взглядом мотоцикл, с ревом пронесшийся мимо. Ни один автобус не мог ускользнуть от взгляда моего сына. И вот теперь – грузовики. Можно подумать, что его специально натаскивали на грузовики – настолько быстро и безошибочно он находил их и определял их тип. Едва узнав о “грузовиках”, он научился выделять их категории, отмечая то, что делало каждый грузовик отличным от других, новым и прекрасным. С учетом его словарного запаса на тот момент категории были такими: “большой”, “маленький”, “пожарный”, “самосвал” и “мусорный”, а также универсальная категория, оказавшаяся на удивление уместной: “смешной”.

Как и все самосвалы, не слишком часто встречающиеся в городе, этот проехал мимо нас слишком быстро. Мы пошли дальше, глядя под ноги. Я все больше обращала внимание на уличные предметы, притягательные для тех, чьи глаза находятся на высоте 76 см от земли. Бесплезные заборчики вокруг деревьев представляют интерес не только для изучающих пахучие метки собак, но и для детей, которые любят провести по ним рукой. Похожие на грибы пожарные гидранты, как молчаливые стражи, встают на пути. Городской ребенок, к сожалению, находится как раз на высоте мусорных ящиков; мой сын научился произносить “фу!” еще до того, как этим словом стала пользоваться я. Уличная “обстановка” разбросана по тротуару вне какой-либо системы. Это визуальная какофония. Со временем уличные предметы умножаются в числе, “порождая целые выводки новых объектов”, как выразился один ландшафтный дизайнер. Там, где стоял один газетный киоск, возникает еще три; фонари уступают место светофорам и указателям. Их сопровождают заборчики вокруг деревьев и пожарные гидранты, а также почтовые ящики, стоянки для велосипедов,

бетонные столбики и клумбы. Наш квартал, породивший множество выводов новых предметов, может похвастаться даже скамейками – и телефонной будкой, сегодня ставшей реликвией[2 - Одного этого было бы достаточно, чтобы переехать в наш квартал: на углу стояли, вероятно, последние в городе телефонные будки. Хотя ими редко пользуется кто-либо, кроме детей, которых загоняют туда родители, они остаются приятным анахронизмом в городе, полном прилипших к ушам мобильных телефонов.]. Однако мой сын во время прогулки удостоил своим вниманием вовсе не эти предметы. Он подошел к трубе, торчащей из стены дома, и постучал по ее концу.

По двум ее концам, точнее. Похожая на двухголовую гидру, эта труба великолепного красного цвета была с обеих концов завинчена крышками. Из брюха трубы свешивалась короткая цепь. Новой любовью моего сына стал пожарный гидрант.

Конечно, я видела пожарные гидранты. И вы видели. Мы постоянно видим их. Они повсюду: высовываются из стен домов и торчат над тротуарами на коротких ножках. Они красные, зеленые, желтые или сверкающе-медные. Только вот я никогда раньше не обращала на них внимания.

Теперь я могу сообщить вам, что на нашей улице пять пожарных гидрантов – по числу высотных зданий, поскольку в Нью-Йорке гидрант должен иметься у каждого дома выше шести этажей. По улицам разбросаны гидранты десятков разновидностей, которые горгульями свисают со стен домов или стоят вдоль стен. Эта часть уличной канализации, на которую никто не обращает внимания, используется в экстренных случаях: она соединяется с водопроводной сетью здания. На лестничных площадках многоквартирных домов можно увидеть вертикальные трубы, которые идут к водопроводу на крыше.

Когда мы наконец оставили пожарный гидрант – после продолжительного поглаживания его частей и восторженных восклицаний, – сын повернулся к нему и помахал рукой: “Пока-пока”. С его точки зрения пожарный гидрант был существом, заслуживающим внимания ничуть не меньше, чем возвышающиеся

над ним двуногие приматы. Сынишка пока не очень понимал, как обращаться с другими людьми, и я, чтобы научить его ритуалам расставания, показала ему, как прощаться. Тот факт, что к “другим” относились также пожарные гидранты, меня не смущал. Сын осведомляется о самочувствии своих игрушечных поездов и здоровается с ними; собираясь прослушать стетоскопом сердце плюшевого зайца, сообщает ему, что “больно не будет”; он заклеивает пластырем стену нашей спальни и целует ее после того, как врезался в нее головой. Однажды моему сыну придется узнать, как устроен мир настоящих социальных взаимодействий. Он пойдет в детский сад, основным назначением которого является “социализация”, помогающая детям покинуть свои персональные планеты и начать разбираться в других людях – и отличать людей от пожарных гидрантов, плюшевых зайчиков, стен и игрушечных поездов. Однажды ему придется понять, как устроен город, в котором он живет, и узнать, кто этим городом управляет; ему придется узнать о людях, живущих в его районе, и о людях, живущих в других частях города. Он узнает о людях, которые чего-либо хотят от него, и о людях, от которых чего-либо хочет он, а также о тех, с кем ему придется соперничать или сотрудничать.

Со временем он научится учитывать чужие интересы, узнавать чужие истории, мотивы, решения и настроения, слушать рассказы о чужом детстве. Он научится сочувствовать людям. Он станет добрым и, надеюсь, вежливым.

Но не сейчас.

Сейчас он ненавязчиво, но откровенно груб. Он глазеет. Он самозабвенно тычет во все пальцем. На улице он ведет себя абсолютно бесстыдно. Он имеет обыкновение уставиться, не отрывая взгляд, на людей, которые проходят мимо, садятся рядом с нами или просто ему улыбаются. Он оборачивается, чтобы рассмотреть прохожих. Инвалиды и пожилые люди кажутся ему необычными, и он тарашится на них еще откровеннее. Недавно, когда мы гуляли с ним по улице и называли цвета припаркованных машин, он вдруг закричал “Белый! Белый!”, указывая на трех (действительно белокожих) прохожих, которые шли по своим делам.

В тот день мы увидели сильно хромавшего нищего, не по погоде закутанного, перед которым все расступались. Он жестикулировал и о чем-то спорил с самим собой. Он пошатывался, что делало его вид угрожающим. Другие люди, идущие по тротуару, не просто старались его не замечать. Они начинали активно заниматься своими делами: хватались за телефон, сходили с тротуара на

проезжую часть – все, что угодно, лишь бы не смотреть на него. Я подавила желание резко свернуть в сторону.

Вместо этого я бросила взгляд на своего сына. Губы у него были плотно сжаты. Когда мы поравнялись с мужчиной, сын замедлил шаг и крепко стиснул мою руку. Зловещий шатающийся мужчина остановился прямо перед нами и уставился на сына, видимо, приняв его за слушателя. Мой сын тихо и внимательно на него смотрел – будто оценивая. Спустя мгновение мужчина преобразился: он улыбнулся моему сыну. Рядом с ним он уже не мог привычно вести себя как аутсайдер в толпе взрослых людей.

А я узнала новый способ обращения с сумасшедшими на улице.

Во время типичной прогулки с малышом каждый прохожий заслуживает того, чтобы остановиться и поглазеть на него. Но мой сын не забывал и об интересах других существ. Каждая собака удостоивалась комментария, смеха и протянутой для обнюхивания руки; ни один голубь не избегал погони; каждая белка, волшебным образом исчезающая в ветвях, заслуживала озадаченного взгляда. Вообще, к встречам с людьми он относился так, будто те были неодушевленными предметами, зато неодушевленные предметы, например пожарные гидранты, он воспринимал как партнеров для общения. Он забыл о хроме мужчине лишь тогда, когда из боковой двери здания вышел другой человек. Это был рабочий в комбинезоне, волочивший за собой мешок с мусором. Не особенно церемонясь, он швырнул мешок, и тот неаккуратно приземлился на краю тротуара. Затем мужчина наклонился и поставил на мешок одинокий ботинок, после чего вернулся в здание. Мы сгорали от любопытства (по крайней мере, мой сын).

“Ботинок!” – воскликнул он. Это слово не было главным в его насчитывавшем несколько десятков единиц (в основном относившихся к семье, животным и еде) лексиконе. Однако это слово, наряду с еще несколькими, находилось в активном употреблении.

Я кивнула: “Ботинок”.

Сын посмотрел на меня. Я узнала этот взгляд: несчастная поросычья мордочка из детской книжки Ричарда Скарри, которую мы читали вместе. Эта несчастная мордочка появилась в книге после ужасного столкновения легковых машин и грузовиков, результатом чего стало обилие раздавленных помидоров, яиц и других вещей, которые везли одетые в человеческую одежду животные. Поросенок – один из водителей, попавших в ту аварию, – имел на лице выражение, которое любил копировать мой сын: грустная мордочка. На этом этапе своего развития, еще недостаточно хорошо умея говорить, сын был крайне экспрессивен в невербальном общении. Он, казалось, использовал все мышцы лица, чтобы прокомментировать происходящее или выразить эмоции. Он жестикулировал всем телом: размахивал руками, пожимал плечами и наклонял голову, что было одновременно комично и очень выразительно. Эти невербальные способы коммуникации были заразительны, и я начинала преувеличенно копировать его жестикуляцию и мимику – что, в свою очередь, заставляло его передразнивать меня.

Я знала, что очень скоро слова – не только выразители мыслей, но и похитители индивидуальных особенностей характера – начнут подавлять экспрессивность моего сына. Поэтому мы всей семьей составили постоянно изменяющийся словарь мимических выражений лица и жестов, который можно было использовать в новых ситуациях. Грустная поросычья мордочка обозначала что-то печальное, жалкое, но одновременно немного смешное. Я наделяла все эти выражения дополнительными смыслами – именно это родители всегда делают с первыми словами своего ребенка. Когда малыш говорит “мама”, мы обычно понимаем это в более широком смысле, например “мне нужна мама”, “где мама?” или “мама мне нужна немедленно”. Дети очень общительны, но неопытны в искусстве владения речью, поэтому мы интерпретируем детские реплики наиболее уместным в данном контексте образом. Я видела, как сын использует грустную поросычью мордочку в грустных-но-немного-смешных ситуациях, поэтому такое значение я и приписывала этому выражению лица.

Но ведь перед нами был ботинок. Неужели сын и вправду хотел сказать, что ботинок грустный? Что ситуация печальна? Что ж, пожалуй, так оно и было: выброшенный, одинокий, потерявший свою пару ботинок, вдобавок лишившийся шнурков и поношенный. Это и в самом деле был довольно грустный поросенок.

Я наблюдала у своего сына проявления анимизма: он наделял жизнью неодушевленные предметы. Психологи называют анимистическими ошибками детскую склонность рассуждать о “радости” цветка, “боли” сломанного стула

или “грусти” одинокого ботинка на мусорной куче, а также нежно поглаживать крышку пожарного гидранта. Эта концепция стала известна благодаря Жану Пиаже, который опубликовал наблюдения за речью собственных детей. Он не только наблюдал за своими детьми, отмечая их реплики, но и задавал специально придуманные вопросы, касающиеся их знания о мире. Одна из его маленьких дочерей заявила, что “небо – это человек, который поднимается на воздушном шаре и делает облака и все остальное”. Другая объяснила, что “солнце уходит спать, потому что солнцу грустно”, а лодки, которые на ночь вытаскивают на берег, “ложатся спать”. Пиаже был одержим этой темой. Много лет он расспрашивал детей о том, каким они видят мир. Пиаже обнаружил, что представления детей в высокой степени анимистичны. Луна и ветер, по их словам, явно живые, поскольку “движутся”, а костер живой оттого, что “трещит”. Двухлетний ребенок поднес к окну игрушечную машинку, чтобы и она “посмотрела на снег”. Другой объявил, что машинка “знает”, куда она едет, потому что “чувствует, что находится в другом месте”. Еще один – что клубок ниток разматывается, потому что клубку “так хочется”.

Пиаже видел в анимизме признак когнитивной незрелости детей и недостаточное понимание ими биологических процессов. Недавние исследования опровергли эту теорию: они ясно показали, что дети с самого раннего возраста различают одушевленные и неодушевленные предметы. Впрочем, и сам Пиаже отмечал ранние признаки зарождающегося понимания: например, дети часто считают солнце живым, потому что оно меняет свое положение в течение дня, однако они почти никогда не утверждают, что солнце может почувствовать что-либо или ощутить боль от укола булавкой.

Так что же дети думают о солнце, лодках или ботинках? На мой взгляд, анимизм может быть результатом размышлений о новом, не совсем понятном предмете: этот предмет может выглядеть или вести себя так же, как другие, уже знакомые ребенку предметы. Ребенок распространяет известные ему понятия и слова на новый предмет и проверяет, подходят ли они к ситуации. Неуверенный пользователь языка играет новыми словами. В некотором смысле неподвижные лодки действительно спят, а ботинок на куче мусора действительно выглядит одиноким, если даже не чувствует себя таковым. Аналогии, приводимые детьми, отличаются яркостью, которую мы утрачиваем, попадая под власть представлений об “уместном” применении слов. И считать, что дети ошибаются, сочувствуя ботинку или наделяя эмоциями цветок, – это признак узости мышления.

Ученые много говорят об усвоении детьми нравственных норм. Однако мне кажется, что врожденная склонность к анимизму дает детям чувствительность, которой не могут научить их взрослые. Ребенок может, сорвав один цветок, прибавить к нему еще несколько, чтобы тому не было “одинок”. Он может передвинуть лежащий на тропинке камень, чтобы открыть камню новый угол обзора, или чувствовать себя обязанным положить камень туда, откуда он его взял, чтобы камень “не переживал потому, что его передвинули”. Сострадание – это следствие того, что ребенок считает предметы живыми. Я помню, как сама постепенно утратила сочувствие к выброшенным стульям. В юности я всегда настаивала на том, чтобы приютить эти стулья, забрать их домой, залатать дыры в обшивке или починить сломанные ножки. Я перекрашивала их и знакомила с довольно большой популяцией стульев, уже обитавших у меня. Вскоре, хотя у меня не было ни одного дивана для гостей, я легко могла бы устроить дома ужин на двадцать человек в День благодарения – моих разнородных стульев на это хватило бы. Теперь я просто прохожу мимо. Возможно, сын когда-нибудь обновит мою коллекцию.

Мы снова двигались к нашему дому со львом. Маршрут, проложенный моим сыном, шел зигзагами и дважды проходил по одной и той же улице. Теперь мы не останавливались возле семян вяза и смешного грузовика: в этом уже не было ничего нового. Сыну было уже 19 месяцев и 3 часа, и он перерос все это. Он сам стал настаивать, чтобы мы пошли обратно. Для сына движение назад, в сторону или кругами было ничуть не хуже (а может, и лучше), чем движение вперед. Садилось солнце, и предметы отбрасывали длинные тени. Они бежали у наших ног, не отставая ни на шаг.

“Что это?” – спросил он, указывая на своего темного двойника.

“Это тень Огдена. А это мамина тень. Привет, тень”, – помахала я рукой. Тень, которая была метра на два выше меня, помахала в ответ.

Сын был испуган и ошеломлен. Я предложила ему поговорить с тенью. Он последовал совету, и, к его восторгу, тень поприветствовала его в ответ. Мы прошли мимо выброшенного книжного шкафа, который у тротуара ждал мусоровоза. На шкаф упала тень моего сына – четкая и темная на фоне светлых сосновых досок. Тень была короткой, почти такого же роста, как мой сын. Когда он подошел, чтобы рассмотреть ее, она стала еще короче; когда он сделал шаг назад, тень удлинилась и расширилась.

За этим занятием мы провели следующие десять минут: сын подбегал к тени (“Маленькая!”) и отскакивал назад (“Большая!”). Все это сопровождалось искренним смехом ребенка, сделавшего еще одно открытие об устройстве мира.

По пути от книжного шкафа к дому я заметила еще несколько теней. Безупречный силуэт водонапорной башни (я вспомнила о ее товарище – пожарном гидранте) вырисовывался на фоне знакомой многоэтажки. Каждый предмет на пути имел спутника. Тени напомнили мне о сложности нашего ландшафта, об огромном количестве объектов, стоящих друг на друге в этом городе.

Подходя к лестнице, сын замычал, демонстрируя одобрение, и приготовился к подъему по ступенькам. Я посмотрела на этого удивительного мальчика, стоящего перед слишком высокой ступенькой и задирающего колени к подбородку, чтобы взобраться на нее. Я крепче сжала его руку. Я хотела, чтобы эта прогулка никогда не кончалась.

Глава 2

Минералы и биомасса

Чтобы узнать новое, ступайте дорогой, которой вы шли вчера.

Джон Берроуз

Если вы прошли мимо человека, остановившегося на тротуаре, чтобы рассмотреть каменные плиты под ногами, знайте: возможно, вы только что упустили шанс познакомиться с Сидни Горенштейном. А это досадно, поскольку вам наверняка было бы интересно узнать то, что этот человек думает о сине-

сером песчанике. Горенштейн, геолог по образованию, когда-то преподавал в колледже, но потом бросил, при этом продолжив организовывать экспедиции для студентов. Он сорок лет координировал экскурсионную программу Американского музея естественной истории (Нью-Йорк). Он и по сей день с энтузиазмом водит немногочисленные пешие экскурсии по Верхнему Манхэттену.

Я встретила с ним прохладным осенним днем у служебного входа музея. Горенштейн, улыбаясь, первым подошел ко мне. Я держала в руке микрофон, и во мне легко было узнать человека, который вчера ни с того ни с сего позвонил ему. А в нем было легко узнать геолога, который взял трубку после первого же гудка и сразу согласился со мной встретиться. На Горенштейне были очки и удобная для прогулки одежда – несколько слоев под легкой курткой, – а кудрявые волосы выбивались из-под бейсболки. Взъерошенный, скромный и слегка рассеянный ученый из детских книжек и моего воображения.

Но пусть вас не вводят в заблуждение непринужденные манеры и неброский головной убор: Горенштейн знает об истории Нью-Йорка последних 400 млн лет гораздо больше, чем мы с вами, и скоро ненавязчиво покажет вам, как мало вы на самом деле знаете. Он исподволь начал знакомить меня со своим увлечением. Еще до официального старта, когда мы только отошли от музея, я сделала замечание о брусчатке, которой выложен двор: я предположила, что асфальт, наверное, не настолько ему интересен, как “настоящий” камень. Горенштейн искоса взглянул из-под своей кепочки и усмехнулся: “Ну, на Земле есть только минералы и биомасса. То, что под ногами, имеет природное происхождение. Так что асфальт – одна из двух этих вещей”.

Действительно, асфальт – это смесь вязких остатков перегонки нефти с минеральными наполнителями, то есть камешки, песок и связующий материал. Такая смесь не только “настоящая”, но и состоит из вторсырья. Горенштейну изгибы каменного покрытия говорили что-то о природной топографии лежащей под ним земли. Он показал мне, что даже форма каменных плит – следствие природного феномена. Шестиугольные плитки сделаны по образцу булыжников, которыми мостили дороги в Римской империи. А римские булыжники представляли собой базальтовые камни удивительной шестиугольной формы, которая естественным образом возникает, когда вулканическая лава охлаждается и сжимается[3 - Замечательный пример естественной мостовой можно увидеть в Северной Ирландии: в месте под названием Дорога гигантов в результате извержения вулкана образовались десятки тысяч базальтовых колонн, стоящих плотно, как литеры в наборе.]. Нам не нужно было никуда идти,

чтобы увидеть геологию города: она лежала прямо перед нами, перед музеем.

Это настоящее откровение: смотреть так же, как Горенштейн, на город, который всегда казался мне просто нагромождением построек. Вспоминая о геологии, мы всегда думаем о том, что под ногами. Горенштейн показал мне, что геология – это также и то, что окружает нас со всех сторон.

“Вот что я вижу, – сказал он, указывая на здание музея и окружающий его садик. – Здание музея – это крупный выходящий на поверхность массив горной породы, а то, что вокруг него – это травянистая равнина с разбросанными по ней деревьями”.

Иными словами, суррогатный природный ландшафт – гора и равнина – десятки раз воспроизводится в каждом квартале. Любой дом построен из камня или сложен из стволов некогда живых деревьев. Все так называемые рукотворные объекты начали свое существование в виде природных материалов, которые были разобраны на части, обработаны и затем вновь собраны в форме предметов, удовлетворяющих нашим целям.

Если увидеть город с этой точки зрения, он не покажется неестественным. Холодный камень имеет природное происхождение. Он почти живой: впитывает воду, нагревается под лучами солнца и линяет из-за дождя. Камни, как и мы сами, стареют: поверхность размягчается, прожилки становятся заметнее. Если смотреть на город как на природный ландшафт, он не кажется вечным: даже исполинский многоэтажный дом постепенно разрушается под влиянием упорной и терпеливой работы ветра, воды и времени. Дождевая вода оставляет минеральные потеки под оконными отливами. Медные украшения окисляются – и зеленые струйки стекают на камни. Стальные элементы ржавеют, окрашиваясь в красно-рыжий цвет. Мало что так красноречиво указывает на естественное происхождение города, как процесс его старения. Камни обрастают мхом. Плющ ползет по кирпичам, проникая в щели между ними, и в конце концов разрушает их. Дерево темнеет от влажности, светлеет от старости и изнашивается. Когда-нибудь этот город, как и все остальные города, разрушится и станет фундаментом для построек других поколений.

Мы поднялись по мраморным ступенькам, ведущим к выходу из музея. Ступени вогнуты в середине и закруглены по краям: их истерли ноги бесчисленных посетителей. Каждый из проходивших по лестнице ступал на мрамор и перемещал семнадцать (или около того) его молекул к краю ступеньки или к

боковой стороне. Через миллион шагов форма камня изменилась со столообразной на слегка вогнутую. Я прикоснулась к сверкающим перилам. Медь была отполирована жиром из сальных желез миллионов рук, сопровождавших идущие по лестнице ноги. Пока я размышляла о том, как люди влияют на камни, Горенштейн вернул меня к мысли о том, как камни влияют на людей.

Ведь Горенштейн – геолог. Во время прогулки он был одновременно со мной и не со мной: шагал рядом, но при этом улыбался и украдкой кивал своим “друзьям”, как он называл различные каменные создания, мимо которых мы шли. Мы были окружены ими: когда начинаешь обращать внимание на камни, оказывается, что они очень разнообразны – и вездесущи. Они – это здания, дороги, тротуары, бордюры, клумбы, ограды и стены, ступени, площадки, навесы и декоративные элементы. “У каждого камня особые характеристики: минеральный состав, размер зерна, общий вид, – сказал Горенштейн. – Поэтому в итоге начинаешь узнавать их, как друзей. Когда я гуляю с людьми, я стараюсь не уделять камням слишком много внимания; это неучтиво. Но когда я гуляю один, я прохожу по этим местам, и камни приветствуют меня”. Этих своих друзей он знал хорошо. Горенштейн на одном дыхании назвал мне более шестидесяти пород, которые различил на фасаде и внутри величественного здания музея. Красный гранит из Миссури соседствовал с гранитом из Род-Айленда, рядом с которым лежал камень с Тысячи островов. Внутри музея коралловый риф со Среднего Запада соседствовал с камнем из Германии возрастом около 400 млн лет.

Возле тротуара компанию им составляли столбики из железной руды (неизвестного возраста) и относительный новичок – дерево гинкго (*Ginkgo biloba*). Мы с Горенштейном остановились полюбоваться: желтые листья и оранжевые плоды серым ноябрьским утром. Дерево оделось в осенний наряд, но выглядело в нем еще выразительнее: оно жило и менялось в привычном нам временном масштабе, в отличие от своих соседей – железа и гранита. С точки зрения геолога гинкго – самое подходящее дерево для каменного города. Гинкго называют “живым ископаемым”: за 200 млн лет оно почти не изменилось. Однако я, как и большинство жителей Нью-Йорка, когда-либо выходивших из дома, знаю это дерево по другой причине. Его плоды пахнут, как деликатно сказано в книгах по садоводству, “неприемлемо”.

Мы с Горенштейном постояли на углу, и я начала сквозь подошвы ощущать холод камней. Горенштейну холод, казалось, был нипочем. Он всматривался в прошлое: через дорогу лежал Центральный парк. “На острове Манхэттен нет ни

кусочка настоящей природы; здесь все искусственное”, – сказал он, предвосхищая вопрос о происхождении парка. Парк кажется уголком дикой природы, однако, по словам Горенштейна, он целиком рукотворен, как и обступившие его здания. Впрочем, можно сказать, что и парк, и дома в равной степени естественны: в конце концов, и то и другое из камня.

Многим известна история Центрального парка. Его построили Фредерик Лоу Олмстед и Калверт Вокс. Сейчас прямоугольник площадью 340 га вполне можно назвать географическим центром Манхэттена, однако в период строительства парк лежал севернее городских кварталов. Он открылся в 1858 году. Парк вырос на месте трущоб, овечьих пастбищ, свиноферм, мыловарен и заводиков по производству костяного угля. И хотя сегодня местность выглядит нетронутой, на самом деле это не так. Парк олицетворяет собой ландшафтную архитектуру.

Горенштейн кивнул в сторону гигантского валуна, выглядывающего из-за стены парка: “Вот, например, естественный выход породы”. Валун поднимался из земли под острым углом и мог бы выглядеть устрашающе, если бы время не смягчило его очертания. Я увидела двух детей, игравших на другой стороне валуна, – курточки на ножках, карабкающиеся вверх и вниз по каменным плечам. “Вот так местность выглядела до того, как срыли холмы. Тут видно, куда их переместили”, – прибавил Горенштейн. Он указал на окружающую парк низкую каменную стену. Холмы, мешавшие Олмстеду и Воксу, были обезглавлены, сглажены и превращены в блоки, из которых сложили стену.

“Значит, они родственники?” – спросила я. Живая сила камней, которая благодаря опыту Горенштейна стала открываться мне, и родство парка со стеной вызвали у меня смутные неприятные воспоминания о цыплятах, которым дают корм, изготовленный из других цыплят.

– Ага.

Это был сланец. Манхэттенский сланец. Точнее, “сильно выветренный, от ржавого до темно-бордового цвета, от средне- до грубозернистого гнейс (из биотита, мусковита, плагиоклаза, кварца, граната, кианита и силлиманита) и, в меньшей степени, сланец”.

Человек, пишущий о геологии, всегда рискует тем, что аудитория впадет в ступор. “Сланец”, “гнейс”, “филлит”, “метаморфические”, “осадочные”,

“кремнисто-обломочные”, “сланцеватые”... Когда я слышу слово “палеозой”, меня клонит в сон. Возможно, геологический масштаб времени в сочетании с многосложными специальными терминами (а их тысячи) оказывают на организм кумулятивный усыпляющий эффект.

Конечно, моя реакция на палеозой означает лишь то, что я ничего не понимаю в геологии. Следить за деталями гораздо проще, если хоть немного знаком с темой. А когда “хоть немного” превращается в большой массив знаний, человек может с полным правом назвать себя профессионалом. Знания влияют не только на то, что мы видим и слышим, но и на то, что мы замечаем. С помощью нейровизуализации можно увидеть, чем отличается мозг профессионала и обычного человека во время реакции на стимул. Посмотрите на мозг танцора во время представления, и вы увидите гораздо больше активных зон, чем в мозге человека, не умеющего танцевать. Профессионализм позволяет человеку приобрести еще больший профессионализм.

Слушая рассказы Горенштейна, я вспомнила о шахматах. Когнитивные психологи охотно изучают природу профессионализма: как он приобретается, поддерживается и применяется. С 70-х годов XX века исследователи охотно изучают поведение и способности шахматных гроссмейстеров. Во-первых, у опытных шахматистов удивительно хорошая память, во-вторых, шахматная доска позволяет без особых усилий оценить объем этой памяти. А память у шахматистов действительно очень глубока: опытный игрок, наблюдая за игрой, видит совсем не то, что игрок начинающий. Глаза профессионального шахматиста смотрят на доску абсолютно не так, как глаза новичка; окидывая доску взглядом, они видят гораздо больше. Опытные игроки замечают не только расположение фигур, но и их историю – откуда они пришли и куда двинутся. Часто они видят десятки потенциальных ходов – вплоть до самой победы! – или десятки прошлых ходов, от начала игры.

Гроссмейстеры держат в памяти феноменальное количество комбинаций. Показано, что типичный гроссмейстер помнит 50–300 тыс. комбинаций из 5–7 фигур, стоящих на доске случайным образом. Такие игроки располагают до 100 тыс. дебютных ходов. Память позволяет им воспроизводить в уме точное расположение большого количества фигур во время сеансов одновременной игры, посмотрев на них лишь однажды. Иногда эта способность распространяется и на случайные комбинации фигур – ведь случайная комбинация выглядит странной и очень характерной для тех, кто видит логику в расположении фигур. Когда же на доску смотрит новичок, он, напротив, видит

хаос. Если новичок внимателен, то он, вероятно, сможет по памяти воспроизвести несколько положений на доске. Но не более того.

Дело в том, что эксперт видит смысл в расположении фигур, а новичок – нет. В глазах профессионала все фигуры связаны друг с другом, и каждую комбинацию на доске он сравнивает с другими досками, которые он видел или на которых играл. Комбинации становятся знакомыми, как лица друзей.

Сравнение с лицами весьма уместно. Нейробиологи довольно давно знают о функции веретенообразной извилины, отвечающей за восприятие и распознавание лиц. Люди умеют быстро распознавать лица на фоне других предметов, находить знакомое лицо в толпе и держать в уме бесчисленное количество лиц, даже недолго виденных. Восприятие ребенка с самого начала сосредоточено на лицах. Во время прогулок мой сын с нескрываемым интересом вглядывался в лица прохожих, чем многих нервировал. Недавно ученые обнаружили, что веретенообразная извилина активизируется у шахматистов не только тогда, когда они смотрят на лица, но и когда играют в шахматы. У фигур нет никаких признаков, напоминающих человеческое лицо, так что, судя по всему, этот участок мозга отвечает за распознавание визуальных объектов, на которые мы смотрим “профессиональным” взглядом. Все мы эксперты в восприятии и распознавании лиц[4 - На самом деле не все. Нарушение прозопагнозия выражается в полной неспособности распознавать лица – иногда даже лица родителей, детей и супругов. Об этом нарушении пишет Оливер Сакс. Заглавие его книги, которое позднее почти заменило название уникального подхода Сакса, указывает на случай, произошедший с человеком, страдающим прозопагнозией: “Человек, который принял жену за шляпу”. Далее события развивались странно: Сакс обнаружил, что и сам страдает прозопагнозией, о чем много лет не подозревал, пока в 80-х годах XX века не взялся сочинять книгу. Одного примечания недостаточно, чтобы воздать должное его размышлениям об этом состоянии (хотя многие из своих удивительных открытий он описал как раз в примечаниях к собственным книгам).]; для тех же, кто стал профессионалом в распознавании других визуальных объектов, эти объекты все равно что лица друзей и родственников.

Я взглянула на Горенштейна, который смотрел на своих каменных “друзей”. Могу поклясться, что долю секунды видела, как его веретенообразная извилина светилась узнаванием.

Вернемся к палеозою. Я подозреваю, что многие относятся к геологии так же, как я сама (невежественно). Именно поэтому я посвятила несколько изнурительных дней попыткам понять, что такое сланец. Следуйте за мной: ваш мозг начнет изменяться с каждым прочитанным словом.

Сланец – это метаморфическая порода. Слово “метаморфическая” означает “изменяющая форму”. Здесь этимология объясняет почти все. Сланец начинает формироваться из глины и ила на дне океана. Несколько сотен миллионов лет назад, в эпоху, которая до сих пор остается безымянной, континенты сталкивались, массивы суши раскалывались, и глина под давлением опускалась к земному ядру, прессовалась, нагревалась, снова прессовалась. Очень, очень долго. Затем глина выталкивалась на поверхность – уже в форме сланца. Минералы, которые вдавливались в сланец, придавали ему слоистый вид, который отличает его от гнейса – метаморфической породы с более зернистой структурой.

Вот история сланца. Но для нас она не заканчивается. Сланец – это основная порода в моем городе. Небоскребы стоят на сланце. Много лет линия горизонта Манхэттена с перемежающимися низкими и высокими зданиями изменялась под влиянием необходимости возведения фундаментов небоскребов на материковой породе. В Нижнем и Среднем Манхэттене сланец можно найти прямо под почвой, но на промежуточных улицах он залегает глубже. В некоторых местах сланец выглядывает из-под “земли” (поверхность, на которой мы помещаем дороги и дома) и незаметно захватывает территорию. Центральный парк испещрен такими подглядывающими камнями. Олмстед и Вокс оставили их, чтобы парк выглядел естественнее, а также соорудили из сланца холм, с которого можно любоваться созданным ими пейзажем.

В день нашей прогулки нью-йоркские сланцы сверкали включениями слюды под полуденным солнцем. Мы остановились. Я провела рукой по глубоким горизонтальным царапинам на поверхности. “Это оледенение”, – сообщил Горенштейн. Я, наверное, выглядела озадаченной, потому что он пояснил: “Давным-давно здесь прошли ледники и отшлифовали камни”. Нынешняя форма береговой линии в районе Нью-Йорка и уровень моря – следствие бесславного отступления тающих ледников. Их следы остались и на сланцах. Ледники несут с собой мелкие камни и царапают скалы. Исчерченная поверхность, которой я коснулась, сохранила следы такого движения. По словам Горенштейна, царапины выдают направление движения льда: на юго-восток (наступление) или на северо-запад (отступление). Если вы заблудитесь в Центральном парке, вы

сможете понять, куда вам следует идти, по царапинам на сланцах, которые выполняют роль слегка уклоняющейся стрелки компаса: они указывают на юго-восток, в сторону Среднего Манхэттена. Эти “эрратические валуны” разбросаны, как объекты современного искусства, по парку и всему городу.

Едва мы вышли из парка, как нам стали сигналить машины: мы неосторожно переходили улицу и чуть не угодили под автобус. Мне показалось, что геология осталась позади, но эта иллюзия длилась недолго. Покинув проспект, мы скоро оказались у здания, перед которым стояла подпорная стенка высотой до колена. Это ничем не примечательное светлое сооружение отделяло тротуар от площадки с мусорными баками. Горенштейн, к моему удивлению, остановился. Лично мне довольно грязная стенка, если не считать нескольких лежавших на ней ярко-желтых листьев, вовсе не казалась привлекательной. Но Горенштейну она показалась бесценной.

– Известняк... Это известняк из Индианы. А вот ходы червей.

Он показал на длинный завиток. Тот действительно имел форму червя. Но это же камень!

Да, камень. “Он когда-то был сыпучей – осадочной – породой на дне моря, и морские черви рыли в нем ходы”. Когда камень был мягким осадочным отложением, древние морские черви проедали сквозь него ходы. Следы, на которые показывал Горенштейн, были кусочками породы, которые химически изменились, пройдя через пищеварительную систему червя, а затем окаменели. Возле соседнего дома мы нашли еще несколько следов древних беспозвоночных: “О, а это морская лилия! И мшанка. А вот двустворчатый моллюск”.

Все эти персонажи не были мне знакомы. Я начала вглядываться в пеструю поверхность, а Горенштейн объяснял, что именно мы наблюдаем. Известняк главным образом сложен из окаменелостей. Как и сланец, он сформировался в Очень-Древнюю-Геологическую-Эпоху на дне океана – и конкретно этот океан находился на месте Среднего Запада. В результате движения морских вод дробились раковины мелких беспозвоночных – улиток, морских гребешков и так далее. Морские лилии (криноидеи) – небольшие животные, сидящие на стеблях из сложенных в столбик дискообразных пластинок. Мшанки – сидячие животные в форме веера, похожие на кораллы. А двустворчатые моллюски, например гребешки, оставили в камне следы в форме знакомых всем ракушек.

Пластинки морских лилий выглядели как монетки с отверстием в форме буквы О в центре – древние жетончики морского метро. Я вдруг стала видеть их повсюду. Следы беспозвоночных были разбросаны по всему зданию, как граффити. Я увидела улицу новыми глазами: она перестала быть скучным набором камней, а сделалась морским дном. Я почти потеряла дар речи.

“Как это удивительно – видеть на стене следы червей, которым 300 млн лет”, – пробормотала я, хотя для Горенштейна этот факт, должно быть, был совсем не удивительным.

Он не стал отвечать. Вместо этого он поманил меня за собой. Мы шли по улице, и Горенштейн рассказывал. Если воспринимать город как место геологических изысканий, открытия будут следовать одно за другим. Горенштейн показывал различные элементы на тротуаре и улицах, на стенах, крышах и лестницах, во внутренних двориках, на карнизах и декоративных розетках. Все это были камни, и все они были ему знакомы. Один квартал – случайно выбранный из множества кварталов в этом или другом городе – хранил историю множества эпох и мест. Мне он напомнил составленную сумасшедшим мозаику, в которой красный гранит из Миссури соседствовал с породой из Ноксвилла, штат Теннесси, а известняк-иммигрант из Франции помещался рядом с уроженцами Среднего Запада, и все они с молчаливым уважением прислушивались к чужим акцентам. Между ними возвышались несколько знаменитых нью-йоркских особняков из красновато-коричневого песчаника: ему, как я узнала, 200 млн лет. Под ногами лежал бетон из известняка, цемента и камешков, и гранитные плиты из штата Мэн, и серо-голубой песчаник из Вермонта.

Мы остановились посмотреть на серо-синий песчаник. “Он из Проктора в Вермонте, – определил Горенштейн. – Тут видна очень интересная вещь, которую мы обычно не замечаем. Видите щечки с клиньями?”

Я рассмеялась. Вопрос явно с подвохом!

Но нет. “Видите расходящиеся линии? Каменотес ударил по валуну, чтобы его расколоть”.

У каждого камня множество историй, потому что у каждого камня множество жизней. У любого камня есть родители: в случае известняка это морские обитатели. Даже здесь, в этом тихом пристанище, которое камень обрел после

сотен миллионов лет беспокойной жизни, он много повидал. Все карьеры, в которых добывают камни, имеют разные характеристики, и знатоки умеют определять, из какого карьера те происходят. Различные технологии добычи минералов, дробления камня на удобные для работы фрагменты и способы обработки камня приводят к тому, что каждый камень имеет характерные отметины и цвета. Один из способов расщепления таких пород, как известняк, заключается в использовании щечек с клиньями – стержня с двумя клиньями по краям. Когда их вбивают в камень, он раскалывается. На половинах остаются линии раскола (Горенштейн назвал следы тем же словом, что и инструмент, который их оставил), а иногда видно даже округлое отверстие от инструмента.

Час спустя, когда мы дошли до конца квартала, мне было почти страшно глядеть вокруг. Идея города как вертикального геологического разреза вызывала головокружение. Я больше не могла смотреть на квартал как на ряды строений, аккуратно расставленных по проспектам. Теперь квартал и его содержимое казались мне мешаниной геологических эпох и мест. Даже одинокое здание на 76-й Западной улице при ближайшем рассмотрении оказалось анахронизмом: итальянский мрамор соседствовал с известняком из Индианы возрастом 330 млн лет, который граничил с голубым известняком с Катскильских гор возрастом 365 млн лет. И все это рядом с валунами из манхэттенского сланца (около 380 млн лет), которые 12 тыс. лет назад были обнажены отступающими ледниками.

Горенштейн улыбнулся: “Есть еще много интересного!” Он подарил мне способность интересоваться камнями – а такой подарок дорогого стоит. Прогулка по улице, обставленной камнями, становится захватывающим путешествием по геологическим эпохам. Теперь я видела, как изменил Горенштейна его опыт. Он никогда бы не смог пройти по кварталу, не заметив его геологии. Все мы в чем-то гроссмейстеры: у нас есть места, где мы ориентируемся лучше всех, предметы, которые изучили до мелочей, уникальные моторные навыки или спортивная ловкость. Я подумала, что на шахматной доске сознания Горенштейна, наверное, аккуратно расставлены минералы. Он пожал мне руку, повернулся и пошел обратно к музею, сопровождаемый своими друзьями.

Осторожно: Q!

По-настоящему увидеть вещь – значит забыть, как она называется.

Поль Валери

Пол Шоу поехал. Мы стояли перед архитектурной галереей и смотрели на довольно обычную и довольно безобидную табличку с названием галереи, ее почтовым адресом, адресом веб-сайта и расписанием работы. Я читала слова. Шоу читал не только слова, но и оценивал шрифтовое оформление. “Так, Helvetica... Обычное дело”. (Это шрифт, которым часто пользуются архитекторы.) “Avant Garde Gothic с курсивом. Бр-р-р”. Шоу наморщил лоб: “И Adobe Garamond, курсивом... Некрасивая разрядка...”. Он замолчал, погружившись в размышления.

Шоу страдает от болезни чрезмерного знания – чрезмерного знания о шрифтах. Люди, страдающие этой болезнью, обычно становятся, как и Шоу, потрясающими типографами. Шоу профессионально занимается шрифтовым оформлением. Он делает на заказ надписи, логотипы, целые шрифтовые гарнитуры – и изучает их. Он организует долгие эпиграфические туры по Италии для небольших групп людей, интересующихся как современными римскими граффити, так и древними и средневековыми надписями. В Нью-Йорке он двадцать лет преподавал каллиграфию и типографию в Парсонской новой школе дизайна и внедрил шрифт Helvetica (и другие шрифты) в дизайн городского метро. Буквофилия заставляет его искать и видеть буквы. А в городе буквы повсюду.

Неудобство человеческой природы состоит в том, что, как это часто бывает, природу никак нельзя выключить. Превращаясь из беспомощных и относительно неподвижных младенцев в подвижных и относительно самостоятельных взрослых, мы все больше сужаем свое видение мира. А живем мы в мире, который формируется с помощью языка и им же описывается.

В начале жизни младенец издает звуки, которые имеют значение для родителей. Разнообразные крики, от капризных до яростных, дополняются довольным воркованием. Младенец постоянно колеблется между состоянием стихийного бедствия и урчащего котенка. Однако через какое-то время, почти независимо от поведения родителей (при условии, что они говорят с ним), младенец начинает издавать другие звуки. Его бормотание, лепет и вопли в будущем превратятся в язык (языки), которые он слышит вокруг. Юный мозг волшебным образом отличает родительскую речь от рева и треска невербальных звуков окружающего мира.

Считается, что в первые пять лет жизни ребенок узнает примерно по одному слову каждые два часа своего бодрствования. Это впечатляет. С точки зрения взрослого, всемогуществу детского мозга можно только позавидовать (хотя мы все в свое время обладали именно таким мозгом). Большинство из нас с трудом пытается вспомнить интересное новое слово, увиденное утром в газете. Теоретически я хотела бы, чтобы мой мозг впитывал слова столь же легко, как это делает мозг ребенка. Однако в реальности такой прогресс меня пугает. С каждым часом ребенок все больше теряет способность мыслить без языка – и без культурного багажа, который несет язык. С каждым часом ребенок теряет способность не замечать слова. Так что если чему-нибудь и стоит завидовать, то это отсутствию речи.

Не поймите меня неправильно: я очень ценю язык, который позволяет мне рассуждать о том, как я ценю язык. Я люблю слова, интересуюсь ими и коллекционирую их: глупые словечки, изысканные словеса, а также слова, которыми я никогда не пользуюсь, но которые просто приятно знать. У нас с мужем сотни словарей, которые выполняют две функции: во-первых, они безропотно ждут, пока мы снимем их с полки, а, во-вторых, когда это все-таки случается, они предлагают нам такие жемчужины, как омфал, амануэнзис и баловной.

В обычной жизни, впрочем, я редко встречаюсь с такими словами. Зато каждый день, когда мы идем по улице, едем по шоссе или находимся в любом другом месте, за исключением совсем уж дикой местности, нас окружают привычные скучные слова. Дорожные знаки, витрины, рекламные щиты и компьютерные дисплеи бомбардируют нас словами, которые мы, с нашим сознанием, одурманенным языком, не можем не читать. Сейчас, печатая этот текст, я выглядываю в окно кабинета и, вопреки своей воле, прочитываю надпись на проезжающем такси: “Такси Нью-Йорка. Минимальный тариф – 2,5 доллара”.

Рекламный “горб” на крыше машины призывает: “Будь глупым”. Такси уезжает, и за ним, на строительных лесах, открывается предупреждение: “Не развешивать объявления”. Слова в городской обстановке – как глубокое декольте: невозможно не смотреть.

К несчастью, в каждом городе множество поверхностей, и в какой-то момент кто-то догадался, что эти поверхности прекрасно подходят для нанесения слов и других символов. Древнеегипетские рабовладельцы наклеивали на стены папирусы, обещающие награду за выдачу беглых рабов. Греческие и римские торговцы помещали символические вывески – деревянную сандалию, каменный горшок – над дверями своих лавок. В Помпеях, погребенных под пеплом в 76 году до н. э., на стенах сохранились объявления, касающиеся недвижимости (“Сдаются... лавки с жилыми помещениями наверху, хорошие комнаты...”) и гладиаторских боев, призывы в поддержку или против кандидатов на выборах, а также незамысловатые граффити и личная переписка. Пожелание “Здоровья тебе, Виктория, и, где бы ты ни была, чихай сладко” до сих пор сохраняется на одной из стен, хотя прошло более 2 тыс. лет с тех пор, как Виктория навсегда перестала чихать.

Сегодня в общественных местах сложно найти поверхность, на которой бы не было слов. В Нью-Йорке вывески магазинов мигрировали с фасадов и дверей на баннеры, навесы и плакаты, расположенные в самых заметных для пешеходов местах. Если вы надеетесь укрыться от лингвистической атаки, нырнув в метро, то вас ждет горькое разочарование. Колонны, вертикальные поверхности ступеней и стойки перил там сплошь заклеены объявлениями, воодушевляющими надписями и ретушированными фотографиями, безучастно смотрящими на вас, пока вы пробираетесь сквозь толпу. До тех пор, пока в городах не появились специальные рекламные щиты, дома были расписаны объявлениями. Стены с выцветшими остатками краски до сих пор виднеются среди современных строений. (Товары, которые они рекламируют – пастилки от кашля и экипажи времен наших прабабушек – обычно не менее архаичные, чем сами надписи.) Практически во всем Нью-Йорке само наличие стены без надписей означает только то, что скоро на ней появятся граффити. И они вряд ли будут содержать пожелание здоровья “сладко чихающей” Виктории.

Поэтому, направляясь на встречу с Полом Шоу, я не беспокоилась о том, что мы не встретим никаких надписей. Но неужели можно рассматривать слова с какой-либо иной точки зрения, кроме лингвистической? Они сопровождали меня от самого дома. Буквы были повсюду. В последнее время слово “шрифт”

используется как синоним “кегля” и “гарнитуры”, однако не удивляйтесь, если знатоки печатного дела будут закатывать глаза и поджимать губы, когда вы употребите эти слова именно так. То, что я видела, было по большей части просто буквами. Буквы были на дорожных знаках и вывесках; на листовках, телефонных будках и фонарных столбах; в названиях зданий; на футболках и рюкзаках; на грузовиках с названиями компании-владельца и компании-производителя. Под ноги бросались надписи на крышке канализационного люка (Consolidated Edison) и упаковке из-под чипсов (Lay's, 150 калорий), соседствовавшие с эмблемой в виде крысы, предупреждающей, что в этом районе применили крысиный яд. Автобус я ждала на остановке с ее названием и номером автобуса. Поверх висела афиша телешоу, которую, в свою очередь, частично скрывало объявление (“Сдаются лавки...”). На пластиковой стене остановки было выцарапано слово “Дверь”. В наши дни даже стенкам мусорного бака есть что сказать. И подошвам кроссовок. Даже мой маленький сын заметил, что наружная вентиляционная решетка оконного кондиционера представляет собой скопление букв O. Инструкции, указания, заявления, названия, описания, предложения и приказы окружают нас.

Возможно, мне стоило предложить Шоу не смотреть на буквы. Но я отправилась с ним на прогулку не для того, чтобы найти еще больше букв, а чтобы увидеть их в новом свете. Шоу влюблен в буквы – в их поиски, в их созидание и (будто они редкие пугливые животные, которых можно увидеть только ночью) в “изучение их местообитаний”. Эта любовь, возможно, обусловлена врожденными качествами этого человека – но ее причина также в том, что Шоу уже очень долго занимается дизайном и изучением букв. Для меня надпись “Такси” означает просто такси. А для дизайнера это катастрофа. Появление нынешней версии оформления нью-йоркских такси вызвало глухой протест у ценителей шрифтов. В этом оформлении множество оплошностей: например, NYC и TAXI набраны разными шрифтами, а тесное расположение букв во втором слове делает его почти нечитаемым. Кроме того, из-за контрастного круга, в который вписана T, слово читается как T-Axi. Кто-то вложил в эти буквы свое мастерство – а точнее, его отсутствие. Это было чье-то политическое или личное решение, анахронизм, неправильное применение шрифтов, неверно выполненная оценка удобства логотипа. За этими буквами скрывалась история, и Шоу она была известна.

Мы встретились пасмурным февральским днем. Я увидела его издали и, улыбаясь, помахала. Шоу в ответ опустил плечи и засунул руки в карманы. Его волосы были в ужасающем беспорядке. Хотя, здороваясь, он и взглянул на меня, его глаза все время бегали по окружающим предметам: стенам, дверям

пожарных выходов, улицам, фонарным столбам и телефонным будкам. Он, как всегда, высматривал буквы. При этом сам Шоу был лингвистически чист: на его куртке и сумке не было ни единой буквы.

Мы решили отойти на пару кварталов от района, где мы оба жили, и побродить по незнакомым улицам. Впрочем, я подозревала, что и там найдутся знакомые Шоу вещи. Уникальность города определяется не только архитектурой: один город можно отличить от другого по набору преобладающих в нем шрифтов. Если не считать стремительного распространения новых компьютерных шрифтов, которые украшают теперь сотни одинаковых магазинов сотовых телефонов и гастрономов, старые надписи на зданиях могут рассказать о том, когда построен город, как он эволюционировал и что в этой эволюции преобладало: разрушение или реставрация. Нью-йоркский стиль представляет собой сборную солянку, имеющую, однако, характерный привкус XX века. Регулярность, с которой можно увидеть здесь надписи в стилях ар-деко и модерн, говорят о том, что 20–30-е годы XX века были отмечены масштабным строительством – причем такого размаха и качества, что большая доля возведенных тогда зданий стоит до сих пор. Шрифт гротеск конца XIX века также встречается, например, в рельефных надписях на фасадах. Как и архитектурные стили, шрифтовое оформление подвержено моде: то, что сегодня кажется современным, довольно скоро станет устаревшим, а то, что кажется дерзким, быстро станет обыденным.

Квартал, с которого мы начали прогулку, кишел буквами. Я, однако, видела слова, а не простые последовательности букв: я читала их. ЧАСЫ РАБОТЫ, АВТОСЕРВИС, СВЕТИЛЬНИКИ ОПТОМ, ПРОЕЗД 24 ЧАСА, всегда смущающее меня сочетание ПИЦЦА ХОТ-ДОГИ. Мы стояли перед галереей “Зал искусства и архитектуры”. Фасад со стенными панелями оригинальной формы, которые поворачивались над тротуаром на шарнирах, был местной достопримечательностью. Внутреннее пространство галереи выходило на пешеходную зону, и прохожие волей-неволей приобщались к искусству, просто решив пройти по северной стороне улицы. Менее знаменитой, чем сама галерея, была длинная, метров двенадцати, вывеска вверху. Остановившись прямо перед ней, Шоу указал на буквы: они были неестественно широкими, будто стиснутыми между двух горизонтальных планок. Ножки А и М были широко расставлены, а амперсанд (&) напоминал толстый круассан. Шоу догадался, что эти буквы не предназначены для того, чтобы их читали. Точнее, они не были предназначены для того, чтобы их читали, стоя прямо перед вывеской. Мы отошли на пять шагов, на угол: да, теперь явно явно лучше. Надпись сделана так, чтобы ее читали по мере приближения: буквы вытянуты и искажены таким образом, что с

угла они казались одинаковыми по размеру.

Я помедлила, восхищаясь тем, как галерея заманивает посетителей, и пробормотала что-то, обращаясь к Шоу. Но он уже ушел. Во время прогулки Шоу постоянно исчезал. То он вспрыгивал на бордюр, чтобы прочитать вывеску двухэтажного магазина с правильного расстояния; то внезапно останавливался, чтобы добавить к своей коллекции фотографию знака, запрещающего парковку – скромного, очень обычного знака в городе, в котором машин больше, чем мест для парковки.

“Я смотрю на все, – ответил Шоу на мой вопрос, отдает ли он предпочтение определенным надписям: на знаках или на земле, случайным или специальным. – Когда я веду экскурсию, я забываю, куда шел”. Надо же: потеряться в этом полном указателей городе!

Мы миновали желтый знак “Парковка запрещена”, нарисованный на снятой с петель гаражной двери. Сверху на двери красовалось: PARK IN AUTO SERVICE (“Парковка – в автосервисе”). Сбоку, возле пожарных выходов на каждом этаже, по зданию карабкались другие знаки. Все вместе мне показалось довольно уродливым: словесный беспорядок, часть визуальной какофонии города. Однако Шоу восхитился.

“Она 40-х годов”, – сказал он. Мне понадобилось не меньше минуты, чтобы понять, что он говорит о вывеске автосервиса. Я осмотрела ее. Буквы написаны небрежно: разного размера, с неправильными промежутками между ними – такие мог бы написать ребенок. Мне они показались неряшливыми. Но не Шоу. Если мы оглядимся, то на большинстве магазинов увидим неотличимые друг от друга виниловые вывески, напечатанные на принтере. С учетом обилия одинаковых магазинов в наше время вывеска была любопытной: “Трудно найти что-либо настолько необычное. Кто-то, наверное, выпилил буквы из фанеры или чего-нибудь в этом роде”. Он помолчал и признал: “Они очень странные”.

Их необычность стала очевиднее, когда мы пригляделись. “Буква U [в AUTO] написана наоборот”, – сказал Шоу. Как только он это произнес, я тоже заметила: правая ветвь толще и тяжелее, чем левая. Я поняла, что всегда знала – хотя никогда и не осознавала, – что толстая ветвь буквы U обычно является ведущей. Я подсознательно увеличиваю ее и выделяю жирным в шрифте, которым пользуюсь – в Garamond. В нем левая ветвь буквы слегка утолщена. Как и в Cambria. И в Times. И в Palatino. И в одном из детищ Шоу – гарнитуре Stockholm.

Во всех этих шрифтах есть асимметрия, о которой мы знаем, но которую не замечаем.

“Буква V – в слове SERVICE – тоже написана наоборот, – продолжил Шоу. – А у R очень высокая талия”.

Шоу был в ударе. Он сыпал диагнозами: “Буква E невысокая, но вот A не должна такой быть. Она должна быть ниже. У N справа внизу засечка, которой обычно не бывает... Это, похоже, дерево. Хотя, возможно, буквы вырезали из металла, так что... может быть, они использовали что-то вроде газовой горелки. Это объяснило бы, почему пробелы немного разные... А буква S из двух частей: у нее очень приятные изгибы”.

Я вдруг позавидовала умению Шоу находить интересное в скучной, непривлекательной надписи. Я просто не обратила внимания на надпись: пренебрежение к ней было встроено в мою систему восприятия и заставляло меня просто не видеть такого рода вещи. Сейчас, глядя на вывеску, я по-прежнему находила ее неинтересной. Но в ней было нечто особенное, вызванное к жизни вниманием Шоу. Я ощутила благодарность к надписи, которая смело висела среди скучных виниловых вывесок. Bravo, автосервис!

Нельзя сказать, что Шоу всегда объективен. Во время прогулки он вынес приговор сотням встреченных в пути букв. Приговор обычно представлял собой различные версии “Это ужасно!” – с упором на ж-ж-ж, чтобы подчеркнуть: это убивает. Оказалось, что проявления кошмарности букв могут быть разными. В одном случае шрифт на вывеске выглядел так, словно его растянули на компьютере, деформировав буквы; в другом случае шрифт был неестественно сдавлен, отчего буквам явно стало некомфортно. Тут случайная последняя буква без всяких на то причин была крупнее остальных (кошмар произвола); а там шрифт плохо сочетался со стилем здания (кошмар несовместимости). Одна надпись была ужасной потому, что ее вырезали механически, а не вручную. Ужас другой надписи состоял в том, что в одном слове применены два разных написания одной буквы. Среди прочего мы увидели магазин, в котором делали и продавали вывески. Его собственная вывеска была особенно ужасной.

Шоу впал в уныние. Оно продолжалось секунды три.

– Смотрите!

Я посмотрела. Если вы интересуетесь буквами, вокруг вас всегда будет множество ужасных вещей. Но, к счастью, не только ужасных. Шоу стоял перед магазином, на вывеске которого значилось: “Тихоокеанский аквариум и домашние животные” (PACIFIC AQUARIUM & PET). Я бы назвала вывеску “обычной”. Красные буквы на длинном куске желтого пластика, судя по всему, указывали на то, что внутри находится беспорядочный набор аквариумов и птичек. Ни о чем другом вывеска мне не говорила. Приглядевшись, я бы, наверное, смогла сказать, что вывеска довольно старая: она казалась устаревшей, да и вся конструкция имела потрепанный вид. Я было утратила интерес к ней, однако Шоу очень оживился.

– Буква Q!

Надпись была сделана заглавными буквами. Я проследила за взглядом Шоу и посмотрела на букву Q в слове AQUARIUM. В ней действительно было что-то необычное. Мои глаза постепенно привыкали смотреть на буквы в новом свете: эта Q явно была не такой, какими обычно бывают Q. Мы стояли, задрвав головы, а прохожие, проследив за нашими взглядами, непонимающе переводили глаза обратно на нас. Мне потребовалось довольно много времени, чтобы увидеть то, что Шоу, судя по всему, заметил сразу. “У буквы Q хвостик внутри!” – радостно объявила я. Хвостик, который отличает Q от O, не торчал наружу, а был завернут внутрь. Буква была похожа на инвертированный пупок.

Шоу одобрительно улыбнулся: “Это выглядит как обычная старая вывеска, но это не так. Такая Q идеально сюда подходит”. Такую Q он еще ни разу не видел.

Было ли это красиво? Я ничего не имею против Q, но конкретно эта буква меня не особенно впечатлила. Однако ее оригинальность явно оживляла в остальном ничем не примечательную вывеску. Возможно, ее сделали такой, чтобы хвостик буквы не наезжал на номер телефона ниже. Я задумалась о Q и связанных с нею проблемах.

Проблемы, однако, были не только у Q. За тот час, что мы провели на прогулке, мы столкнулись с множеством проблем, и Шоу с удовольствием перечислял их.

Надпись на здании Департамента озеленения: “Да, наносить надписи на кирпичную стену затруднительно...”.

Вывеска, которая висела в углублении стены: “В глубине она смотрится хуже – возникает проблема тени...”.

Надпись, расположенная на изогнутой кривой: “Сложно расположить по кривой буквы с прямыми засечками, и еще хуже не разделить их дополнительными интервалами” (чего здесь, конечно, не сделано).

“Кошмарный промежуток” между буквами T и h, как в словах This и That – эта проблема частично решается использованием лигатуры.

Проблема сочетания букв: “Двойная t в settlement. Это всегда большая проблема...”.

– ...и проблема с буквами R.

Что за проблема с R?

Чем дальше, тем больше проблем мы находили. Всякий раз, с замиранием сердца обнаруживая новую вывеску, я поворачивалась к Шоу с жалобным видом, выражающим вопрос: “Что с ней не так?”, и он ставил диагноз. Я поняла, что всю жизнь беззаботно проходила мимо недиагностированных заболеваний букв – как, наверное, проходила и мимо скрытых психологических недостатков незнакомцев.

Восприятие Шоу – его способность видеть красоту букв и замечать их уродство – указывает на особенности его характера. Все мы проявляем эстетические, а иногда и эмоциональные реакции на вещи и явления. Некоторые исследователи утверждают, что в нас заложен врожденный голод, который заставляет нас искать зрительные стимулы, доставляющие нам удовольствие. Когда мы удовлетворяем этот голод, мозг выделяет природные опиоиды. Что именно доставляет нам удовольствие? Вещи, насыщенные информацией и состоящие из приятных элементов, которые пробуждают у нас ассоциации с прошлым опытом. С этой точки зрения опыт Шоу позволяет ему испытывать нечто вроде опьянения при виде красивых букв.

Было так холодно, что в пальцах стыла кровь, а батарейки в диктофоне отказывались работать. Шоу, напротив, все более оживлялся. Рассказывая о том, чего я не вижу, он шевелил бровями и сверкал глазами. Временами казалось, что он говорит с самими буквами – будто те живые. В его отношении к буквам определенно есть что-то человеческое.

Букве O, сдавленной S и N, было “неудобно”. Другая буква была “бойкой”. Шоу использовал лексику, относящуюся к человеческому телу, чтобы подчеркнуть что-то необычное в буквах, которые мы находили: амперсанд был “брюхатым”, буква R – “длинноногой”, а S – “с высокой талией”. Посвященные типографике интернет-форумы пестрят анимистическими характеристиками наряду с профессиональным жаргоном: S – “слегка подавленная”, другая буква “самодовольна”, R “делает реверанс”, G “немного навеселе”, J “суицидальна”, а дизайну одной из букв “не хватает человечности”. На самом деле человечности буквам не занимать. Глядя на прохожих, я размышляла, какие их черты можно применить для описания букв. Я заметила “узкоглазую”, с маленькими просветами букву B, P “с большим носом”, f “с короткой шеей” – с перекладиной, смещенной кверху.

Большая доля букв, которые нам встречались, была хорошо видна – хотя вряд ли кто-то рассматривал их так пристально, как мы. Впрочем, среди любителей города популярна своего рода игра в поиск невидимых надписей, или вывесок-призраков. Это вывески, которые специально удалили, закрасили, заменили или забросили почти до полного – но все-таки не окончательного – исчезновения. Находить такие вещи так же приятно, как обнаруживать, например, что кассир случайно дал вам старый пятицентовик с изображением индейца. Я храню эти пятицентовики – маленькие тотемы из прошлого. И я мысленно коллекционирую вывески-призраки и киваю им, проходя мимо. Когда ради постройки нового здания сносят старую многоэтажку, я осматриваю открывшиеся для обзора стены соседних домов – в поисках спрятавшихся объявлений. Найти пятицентовик, обнаружить крупную, заглавными буквами надпись, возвещающую о ПОКУПКЕ И ПРОДАЖЕ ГОФРОЯЩИКОВ, – все это наводит на ту мысль, что, если бы мои глаза всегда были широко открыты, я повсюду замечала бы следы прошлого.

Во время прогулки мы натолкнулись на двойной призрак: минимум две наложенных друг на друга вывески. Агентство по недвижимости и рекламное агентство указали именные номера ATC: Canal 6-1212 и Orchard 4-1209. Это свидетельствовало о том, что оба агентства существовали в середине 1900-х

годов. Вывески были романтичными и в то же время ужасающе скучными. Трудно поверить, что сегодняшние вывески завтра могут стать для кого-либо любимыми призраками. Впрочем, так и будет – судя по тому, что моя полиэстеровая трехцветная рубашка родом из 70-х годов и простенькая “Вольво” 1964 года теперь считаются “классикой”. Шоу испытывал к вывескам-призракам интерес скорее исследовательский. Подобно тому, как историк архитектуры умеет датировать здание по оконным рамам или типу кирпичной кладки, Шоу был настоящим детективом, который видел улики в надписях.

Через полчаса после начала прогулки мы оказались возле здания со странной архитектурой. Дом был с виду величественным, но пустым, широким, но низким. У него был известковый фасад (с множеством морских лилий, как я узнала от Сидни Горенштейна) с полукруглой витриной по центру. Если бы на этой улице были автомобильные салоны, я бы предположила, что они должны выглядеть именно так. Шоу немедленно переключился в режим изучения букв:

– Это потрясающе.

А затем – в режим детективного расследования. Его внимание привлекла изящная разноцветная вывеска из витражного стекла, на удивление целая и защищенная пластиком. Для такого здания подобная вывеска была очень маленькой. Мы едва взглянули на то, что на ней значилось, и Шоу сразу определил стиль. “Ар-нуво: сплошные кривые. Буквы В, Е, R, Y и общий стиль надписи”, – объявил он.

В каждой букве было что-то необычное. А была очень нарядной, у В был огромный живот, у R – гордо выпяченная грудь, О имела форму яблока. Буквы были золотого цвета и состояли из отдельных сегментов, наклеенных на стекло цвета морской волны. Я никогда не видела ничего похожего на эту вывеску.

Ар-нуво – стиль конца XIX века, в Нью-Йорке он встречается редко. Шоу подумал, что это имитация. Он встал на цыпочки, чтобы рассмотреть вывеску, и нашел выдавленные в металле T-M. Отступив назад, мы прочитали надпись Tree-Mark Shoes, вырезанную в камне в верхней части фасада: “подражание римской

эпиграфике”, сказал Шоу, показывая на точки между словами. С помощью этих подсказок он определил возраст здания: начало XX века с доработкой в конце столетия.

На углу здания висела табличка с номером: 6. Я молча посмотрела на Шоу. Он отозвался: “Это из строительного магазина”.

Только вдумайтесь: здание XX века с прибитым в XXI веке номером из строительного магазина.

Простой набор знаков, которые не видят даже те, кто смотрит на них, хранит историю прошлого. Чтобы узнать эту историю целиком, я изучила газетные архивы и городские путеводители. Я обнаружила, что дом № 6–8 по Деланси-стрит построен в 1929 году. Сначала здесь располагался театр, затем магазин обуви (“обувь для необычных ног”, говорилось в рекламе). Прежде в доме были квартиры, потом здесь произошло нашумевшее в городе ограбление, в котором участвовали несколько детективов, и наконец здание превратилось в “притон”.

Сейчас здесь рок-клуб.

Шоу почти точно угадал историю здания. Конечно, в его версии ничего не говорилось о преступлениях, совершенных полицейскими, однако я узнала о них именно благодаря надписям.

Через три часа прогулки с Шоу я с облегчением вздохнула: меня наконец оставило навязчивое желание читать все, что можно прочесть, и анализировать любой увиденный текст. Как ни странно, это облегчение возникло не потому, что я стала избегать текстов, а, наоборот, потому, что я стала отыскивать их – чтобы приглядеться к деталям. Мое зрительное восприятие теперь позволяло мне видеть за лесом отдельные деревья. Я видела не столько слова, сколько их компоненты. Небольшая часть моего мозга (лингвистическая часть) отдыхала, а участок, отвечающий за распознавание форм, жужжал от возбуждения.

Я попрощалась с Шоу под красивой неоновой вывеской и вернулась к месту, с которого началась наша прогулка. Оно выглядело примерно так же, как раньше. Я почувствовала разочарование оттого, что краткое погружение в мир типографики не наделило меня умением распознавать шрифт на дорожном

знаке или замечать неправильные интервалы между буквами на навесе.

Я перевела взгляд с витрины архитектурного галереи на панели. Стояла зима, и панели были закрыты. И тут я кое-что увидела: буквы. Форма панелей не была случайной: каждая сделана в виде огромной неуклюжей буквы без засечек, будто слепой великан вырезал их ножом для бумаги. Я поняла, что заразилась болезнью Шоу: я видела буквы.

Давным-давно, когда я училась в колледже, у меня появился “Макинтош” с крошечным дисплеем в огромном корпусе. Тогда я начала играть в “Тетрис”. На “Маке” производитель устанавливал одну-две игры, и “Тетрис” был самой увлекательной. Все, кто играл в “Тетрис”, знают, что происходит после нескольких часов игры. Все объекты реального мира превращаются в вариации тетрисных фигурок. Входя в библиотеку, я видела ступенчатые фигуры, которые нужно было повернуть в вертикальной плоскости и поместить в подходящую нишу. Я чувствовала удовлетворение, глядя на изогнутые уголки элементов сложного узора на кафельной плитке. Длинная прямоугольная табличка на двери туалета, висящая над квадратной табличкой со значком инвалидной коляски, вызвала чувство глубокого дискомфорта.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=23920697&lfrom=201227127) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

notes

Сноски

1

И это несмотря на проникновение “Макдоналдс” и “Старбакс” в самые отдаленные районы. Сетевые заведения мешают отпускному взгляду на мир. – Здесь и далее, если не указано иное, – примечания автора.

2

Одного этого было бы достаточно, чтобы переехать в наш квартал: на углу стояли, вероятно, последние в городе телефонные будки. Хотя ими редко пользуется кто-либо, кроме детей, которых загоняют туда родители, они остаются приятным анахронизмом в городе, полном прилипших к ушам мобильных телефонов.

3

Замечательный пример естественной мостовой можно увидеть в Северной Ирландии: в месте под названием Дорога гигантов в результате извержения вулкана образовались десятки тысяч базальтовых колонн, стоящих плотно, как литеры в наборе.

4

На самом деле не все. Нарушение прозопагнозия выражается в полной неспособности распознавать лица – иногда даже лица родителей, детей и супругов. Об этом нарушении пишет Оливер Сакс. Заглавие его книги, которое позднее почти заменило название уникального подхода Сакса, указывает на случай, произошедший с человеком, страдающим прозопагнозией: “Человек, который принял жену за шляпу”. Далее события развивались странно: Сакс обнаружил, что и сам страдает прозопагнозией, о чем много лет не подозревал, пока в 80-х годах XX века не взялся сочинять книгу. Одного примечания недостаточно, чтобы воздать должное его размышлениям об этом состоянии (хотя многие из своих удивительных открытий он описал как раз в примечаниях к собственным книгам).

Купить: <https://tellnovel.com/aleksandra-gorovic/smotret-i-videt-putevoditel-po-iskusstvu-vozpriyatiya-kupit>

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)